



Н. А.
ПОЛЕВОЙ

Николай Полевой
Клятва при гробе Господнем

«Public Domain»

1832

Полевой Н. А.

Клятва при гробе Господнем / Н. А. Полевой — «Public Domain»,
1832

Книга повествует о событиях на Руси XV века, о междоусобных войнах, которые вели князья за Великий Московский престол, о дворцовых интригах, о Москве и Новгороде того времени, о славных российских городах Угличе, Суздале и Дмитрове - в общем, представляет собой историю смутного времени. Но не только этим замечательна настоящая книга. В ней содержится - и это самое главное - призыв к миру и согласию, христианскому прощению и усмирению гордыни ради пользы Отечества.

© Полевой Н. А., 1832

© Public Domain, 1832

Содержание

Часть первая	5
Разговор	6
Глава I	18
Глава II	24
Глава III	30
Глава IV	36
Глава V	43
Глава VI	51
Глава VII	61
Часть вторая	71
Глава I	71
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Николай Алексеевич Полевой

Клятва при гробе Господнем¹

Русская быль XV века

...Не слышен голос прошедшего; но когда искра юного огня затлеет во глубине груди, пламя вспыхивает, память освещается. Память, как лампа хрустальная, расписанная яркими цветами: пыль и пятна ее покрыли; но когда в сердце ее поставит огонь, еще свежестью цветов обольщает она очи, еще расстилает на стенах древней храмины узорчатые, хотя и потускнелые, ковры цветов и красок...

Валленрод

Часть первая

...Тобе диавол на него вооружил желанием самоначалства разбойнически ноцетатством изгонииши его на крестном целованьи, и сотворил еси над ним не меньши Каина и окаянного Святополка... Чим еси самого пользовал, и колико еси государствовал, и в которой тишине пожил еси? Не все ли в суете и перескаканыи от места до места, во дни от помышления томим, а в нощи от мечтаний сновидения? Ища и желая большего, и меньшее свое изгубил еси... Или, Господине, по нужи смеем рещи: ослепила тя будет душевная слепота, возлюблением временныя и преходящая чести княженья и начальства, еже слышатся зовому Князем Великим, а не от Бога дарованно, или златолюбством объят еси, или женовнимателен и женопокорен, яко же Ироду подобствуя явился еси, и крестное целованье² ни во что же вменив...³

Писано к Шемяке, из Москвы, в 1447 году

...И не сие мне было пострадати грех моих ради, и беззаконий многих, и преступлений моих во крестном целованьи перед вами, перед своею братиею старейшею, и предо всем Християнством, и его же изгубих, и еще изгубиши есьми хотел до конца: достоин есть главныя казни; но ты Государь мой, показал если на мне милосердие, не погубил еси мене с беззаконии моими, но да покаюся зол моих...⁴

Говорено Шемяке, на Угличе, в 1446 году

² ...крестное целованье – клятва на верность данному слову (устному или закрепленному в грамоте, договоре), скрепляемая целованием креста.

³ Писано к Шемяке... – Имеется в виду «Послание» («Грамота») русских епископов князю Василию Шемяке (см. прим. к с. 325) от 29 декабря 1447 г.

⁴ Говорено Шемяке... – Приводятся слова, сказанные Василием II Васильевичем (1415—1462), великим князем Московским (1425—1433, 1433—1446, 1447—1462), при покаянном примирении с Василием Шемякой после того, как он был в 1446 г. Шемякой свергнут и временно отречен в его пользу от великокняжеского Московского стола.

Разговор Между сочинителем *русских былей и небылиц*⁵ и читателем

Читатель. Куда это вы собираетесь?

Сочинитель. В типографию.

Чит. А! вот и рукопись! Верно намерены печатать что-нибудь новенькое?

Соч. *Ничто не ново под луною!* Это было сказано уже очень давно. Но вы не ошиблись: я точно хочу печатать *мое* новое сочинение.

Чит. Прекрасно! Нельзя ли узнать, что это такое у вас будет?

Соч. Очень можно. Вот название: «Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV-го века». – А там, может быть, явится и *небылица* русская.

Чит. Что ж это такое: *были* и *небылицы*.

Соч. *Быль* то, что *точно было*; *небылица* то, что *никогда не бывало*, сказка.

Чит. Верно, что нибудь в роде Гётевых «*Dichtung und Wahrheit*»?

Соч. Да, если вам угодно; только Гёте писал *были* и *небылицы* о себе самом, а я пишу *были* и *небылицы* *русские*, то есть о нашей православной матушке-Руси.

Чит. Понимаю: вы хотите рассказать нам что-нибудь *русское*, и *по былинам* прежнего времени и *по замышлению Боянову*⁶, жизнь и поэзию Руси?

Соч. Вы угадали. Мне кажется, что история, география, статистика, этнография Руси все еще оставляют для нас нечто *недосказанное*, и мне хотелось бы именно это, хотя отчасти, высказать русскими былями и небылицами. Успею ли в этом, не знаю; по крайней мере, скажите мне: *спасибо*, за мое доброе намерение.

Чит. Признаюсь: этого я не ожидал от вас.

Соч. Почему же?

Чит. Не только слышал, но и читал я неоднократно, что вы не знаете Руси, что вы не любите Руси, что вы терпеть не можете ничего русского, что вы не понимаете, или не хотите понимать – даже любви к Отечеству и называете ее – *квасным патриотизмом!*

Соч. Неужели вы верите всему *слышанному* и даже всему *печатному*?

Чит. Не без разбора; однако ж, это твердят беспрестанно и столь многие, что хотя и не совсем веришь, но начинаешь сомневаться.

Соч. Есть люди, которые уже и не сомневаются в том, что вы говорите; благодарен вам, даже за сомнение. Но кто же говорит и беспрестанно твердит вам о моем отступничестве, отречении от русского, нелюбви к Руси?

Чит. Пишут почти все журналисты русские, множество литераторов русских в стихах и прозе, критических статейках, эпиграммах, водевилях и сатире, а говорят об этом...

Соч. Те, которые ничего не читают, не пишут, а составляют зевающую толпу вокруг пишущих? Но кто читал, что писано мною доньше, тот конечно скажет вам, что *квасного патриотизма* я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю и – еще более, позвольте прибавить к этому, – *Русь* меня знает и любит.

Чит. Следовательно, находится какое-нибудь недоразумение...

⁵ *Сочинитель русских былей и небылиц* – так назвал себя Н. Полевой, напоминая о себе, как авторе «русских былей» («Симеон Кирдяпа», «Краковский замок», «Постоялый двор» и др.) и «небылиц» («Святочные рассказы» и др.).

⁶ «Начата же ся той повести *по былинам сего времени*, а не *по замышлению Бояно*». – «Слово о полку Игоревом».

Соч. Его легко выразуметь и объяснить. Литературная собратия моя, журналисты, не терпят меня за то, что без всякого искательства и покровительства перегнал я кое-кого из них на журнальном поприще. Семь лет постоянного внимания и уважения публики⁷ что-нибудь да значит, чего-нибудь да стоит, когда то и дело мелькали и мелькают у нас в Лету⁸ другие журналы и журналисты, газеты и газетчики. В то же время я смеюсь над всеми партиями и сплетнями литературными, думаю свое, говорю *свое*, смело сказываю истину писакам и писачкам нашим, *знаменитым* и *незнаменитым*, и в течение семи лет сказал правду, по крайней мере, тысяче человекам. Правда глаза колет – это дело известное, и согласитесь, что когда она уколола около двух тысяч глаз, то есть кому поморщиться при одном моем имени...

Чит. Что правда, то правда; все это может быть.

Соч. Не может, а точно так.

Чит. Но однако ж говорят, что писанное-то вами именно и подтверждает все, что другие пишут и говорят об вас.

Соч. Писанное мною подтверждает одно то, что я враг *квасного патриотизма*. В этом, как и во всех своих правилах и мнениях, я готов всегда сознаться, готов всегда подтвердить их, перед кем угодно.

Чит. Но после такого признания вообще вы не скроете и подробностей дела?

Соч. И их никогда и ни перед кем не скрывал, и не буду я скрывать. Послушайте.

Судьба русской земли необыкновенна тем, что Русь поставлена между Югом и Севером, между Европою и Азией, обширна, могущественна, но младшая сестра всем другим европейцам. До Петра Русь возростала отдельно от Запада: была в Европе и вне Европы. Только Петр начал настоящее образование Руси. Форма сего образования должна была быть *европейская*, а не азиатская, по тому же, почему дважды два четыре, белое не черное, а черное не белое. Прошло уже сто лет, как мы вдвинуты в Европу, но – только *вещественно*. Мы сильны, могучи, чудо-богатыри. Мы ломали рога турецкой луны, вязали лапы персидского льва, переходили через Альпы, сожгли величие Наполеона в Москве и заморозили его славу, загнали шведов за Ботнический залив и подписали один мир в Париже, другой под стенами Царяграда. При всем том (чего стыдиться нам истины?), по *умственному* образованию – мы всех европейцев моложе, мы еще дети! Дидерот⁹ ошибся, сказавши, что Русь есть плод, который не созрел снаружи, а гниет внутри. Мы, просто, еще *не дозрели*.

Чит. Ну, вот и правда, что мне говорили и что я иногда и сам замечал! Можно ли так говорить! И вы русский?

Соч. Больше, нежели кто-нибудь другой: горячая русская кровь течет в моих жилах; но прошу слушать далее. Сердитесь или нет, а я повторю вам слова мои: Русь, могущественная, сильная, крепкая, есть незрелый плод. *Вещественно* – она все кончила; *умственно* – только все начала, и – ничего еще не кончила!

Чит. Да чего же вы от нее требуете?

Соч. Умственное образование состоит в полном развитии внутренних сил, внутреннего духа. Такого полного развития у нас еще нет. О **внутреннем** государственном устройстве ничего не будем говорить: это не наше дело. Но и в этом отношении я укажу вам на труды и попечения мудрого нашего правительства, которые убедят вас, что оно, благонамеренное и великое, чувствует явные недостатки нашего общественного устройства, исправляет их, учреждает новые суды, пролагает дороги, роет каналы, устраивает общества, выставки, училища, академии, купеческие советы и проч. и проч. – Честь и слава ему! Но мы, *частные* и *честные*

⁷ Семь лет постоянного внимания и уважения публики... – Имеется в виду популярность журнала «Московский телеграф», издаваемого Н. Полевым с 1825 г.

⁸ ...мелькают... в Лету... – т. е. бесследно исчезают. Лета – в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве; души умерших, погруженные в воду этой реки, забывали все, перенесенные ими на земле, страдания.

⁹ Дидерот – французский писатель и философ Дени Дидро (1713—1784).

люди, должны ли что-нибудь делать со своей стороны? Можем ли чем-нибудь споспешествовать ему?

Чит. Разумеется. Правительство исправляет, учреждает, а мы должны исправляться и учреждаться.

Соч. Очень хорошо, но это еще не все. Проявление вещественного и невещественного богатства зависит именно от нас, частных и честных людей. Мы производители, мы должны помогать правительству, создавая русскую промышленность, русское воспитание, русскую литературу, словом – *русское внутреннее образование, или проявление внутренних сил России.*

Для этого необходимо:

1-е, и начальное: искреннее сознание у нас существующих недостатков;

2-е, справедливое сознание чужеземных преимуществ;

3-е, верное познание сущности самих себя;

4-е, умение пользоваться чужим хорошим, отвергая чужое дурное. – Затем, по верному плану, можете участвовать, сколько силы и средства вам позволяют, в труде общественного образования. Справедливо ли я говорю?

Чит. Бесспорно. Но что далее?

Соч. Прежде всего то, что ваш испуг при словах моих о совершившемся доньше внешнем только образовании России был несправедлив. Невежда, один невежда не сознается в недостатках, а кто не хочет быть невеждою, должен этим начать.

Чит. Согласен; но вы...

Соч. С пламенным желанием добра я обдумал предварительно все, что вам говорил теперь, и сообразив, что могу делать, чем могу быть полезен в деле отечественного образования, начал действовать с верною целью. Будучи частным человеком и действуя, как честный писатель, что я делал? Я указывал моим соотечественникам на недостатки наши; изъяснял им европейское, современное образование; говорил, как шли, что делали другие и что должно делать нам.

Чит. Прекрасно!

Соч. Прекрасно для людей, понимающих дело и благонамеренных. Для людей же, не понимающих дела, особливо же своекорыстных, отставших, уставших, извне образованных – все это никуда не годится.

Смешивая политическое, внешнее величие Руси с требованием умственного, внутреннего образования, многие забрали себе в голову, что Русь кончила все свои подвиги. И вот толпа кричит во все горло: «Мы славны, мы велики, мы просвещенны, мы учены, мы богаты. О Русь! о мать Россия!»

Понимаете ли, что этот крик детский, крик горделивого полуневежества? Не так говорит тот, кто искренно и умно желает славы, чести и счастья Отечеству.

Он скажет: «Не за то люблю я Русь, что в ней едят московские калачи и валдайские баранки, а пьют квас, но за то, что она моя отчизна, моя земля, моя Родина, земля судеб и надежд великих, край народа умного, бодрого, способного ко всему великому и прекрасному». Далее: «Но Русь славна только политическим, внешним величием, она дитя умственным образованием. Промышленность, торговля, литература, просвещение – у нас только начинаются». Далее: «Иноземцы перегнали нас во всем этом. Бог с ними: они ранее нас начали, не позавидуем им, но догоним их, а для этого сначала посмотрим: как они *делали*, что они *сделали* и что они *делают*?»

Так думал, говорил, писал я, и вот – гордое полуневежество, смешное самохвальство, квасной патриотизм, слепая любовь к Отечеству возопили против меня и прокликали меня нелюбящим Руси и едва не врагом русской чести и славы!

Чит. Это сушая клевета; но мне сказывали, что вы, как нарочно, все русское браните, Руси вовсе не знаете, говорите о каких-то высших взглядах, высшем патриотизме, а это, если не *карбонарство*, то, по крайней мере, *космополитство*...

Соч. Пусть тот, кто с большим жаром преклонял колена перед всем, что было и есть в Руси изящного и великого, кто с большею любовью лелеял всякое доброе начинание, кто пламеннее моего желал добра Отечеству – пусть тот бросит в меня камень! Но хвалить что-нибудь потому только, что оно *русское*; но кричать о славе нашей со времен славян; но думать, что пыль русская лучше пыли германской, что дым русский пахнет розою – все это и всегда я почитал и почитаю решительно нелепостью, несправедливым оскорблением законов Провидения и делом, достойным или дурака, или негодяя, притворщика! Кто любит Отечество, тот желает ему добра; кто желает ему добра, тот хочет ему образования; кто хочет образования, тот прежде всего оставит пустое хвастовство, будет русским и в то же время европейцем. *Высшие взгляды!* Это просто взгляд не на один угол – французский, немецкий или русский, а на все человечество, чтобы узнать свое *историческое* место и верно стать на это место. *Низшие взгляды* оставим китайцам и персиянам. Читали ль вы. «Похождения Хаджи Бабы в Лондоне»¹⁰: «The adventures of Hajji Baba of Yspahan». Оно переведено и на русский язык¹¹: жаль только, что не вполне.]? Вот вам верное изображение *квасного патриотизма!* С ним не уедешь далеко. *Патриотизм высший* должен быть уделом народов просвещенных и великих. Если представителем его в России изображают меня журнальные крикуны и малограмотная толпа – благодарю их и признаюсь, что за честь такого названия я готов жертвовать всем, что для меня в мире есть драгоценного, а бояться его никогда не стану!

Чит. Ваши слова убеждают меня; но я боюсь: не требуете ли вы истребления народной гордости, уважения к предкам и переделки в французов, немцев, англичан?

Соч. Вы не совсем меня понимаете. Истребления *невежественной* народной гордости – требую; *просвещенную* народную гордость – молю Бога внушить нам! Уважения к предкам, как *образцам нашим во всем* – не понимаю; уважение *к доброму и великому в предках наших* – ставлю выше всего. Переделку в французов, немцев, англичан почитаю жалким обезьянством; переделку в *европейских россиян* почитаю целью, которой мы всеми силами должны достигать.

Так ли думают те, которые кричат против меня? «Русь, Русь, великая Русь! Гостомысл¹² равен Нуме¹³ и Миносу¹⁴! Нас хотят разлучить с любовью к Отечеству!» И кто ж это говорит? Какой-нибудь полурусский человек, одетый в французский фрак, выщипывающий стихи из Байрона и Шиллера, выписывающий из Карамзина все, что он хочет сказать о России, кропя оду, в которой пошлость выкупается – разве только пустотою мыслей!

Чит. Но как же должно поступать?

Соч. Не берусь учить других, но вот как я думаю. Довольно хвастовства, довольно внешности. Уверимся, что внутреннее образование наше должно начаться сознанием достоинства других народов. Затем:

С одной стороны, философически рассмотрим европейскую образованность и требования века, отделим доброе от худого, *бросим злую половину*, как говорит Шекспир¹⁵, и извлечем для себя *формы европейского образования*.

¹⁰ Превосходное произведение Мориера (*Мориер* Джемс (1780—1849) – английский писатель, дипломат и путешественник.

¹¹ «Похождение Мирзы Хаджи Баба Исфаганц в Лондоне». Спб. 4 части, 1831 года

¹² *Гостомысл* – легендарный предводитель (старейшина) новгородцев (1-я пол. IX в.), инициатор приглашения варягов на Русь.

¹³ *Нума* Помпилий – легендарный Римский царь.

¹⁴ *Минос* – легендарный Критский царь; после смерти – один из судей загробного мира.

¹⁵ O, throw away the worse part of it, // And live the purer with the other half. *Гамлет*.

С другой, беспристрастно рассмотрим самих себя. В истории нашей поищем не предметов пустого хвастовства, но уроков прошедшего; в настоящем быте нашем откроем нынешние недостатки и выгоды наши. Россия – картина, большая часть которой загнута под раму; прочь эту раму! Откройся, мать наша, безмерная Русь, мир-государство, во всей полноте своей! Покажи нам всю сложность, все части своего разнообразного состава. Мы извлечем таким образом *стихии народности*.

Зная *формы европеизма а стихии русизма*, скажите! чего не сделаем мы из Руси нашей, из нашего народа, закаляемого азиатским солнцем в снегах Севера? Мы победили Европу мечом, мы победим ее и умом: создадим свою философию, свою литературу, свою гражданственность, под сению славного престола великих монархов наших!

Вот чего хочу я, вот чего требую. И неужели вы скажите после того, что я *менее люблю, менее знаю Русь*, нежели какой-нибудь рифмач, которому память о *Полтаве* нужна для рифмы к *славе*, а сказание о том, как побиты *шведы*, к рифме *победы*; или какой-нибудь *либеральный* барский сынок, готовый кланяться и кричать о патриотизме, для отыскания *ключа* к счастью; какой-нибудь газетчик, который знает Русь по *отечественным воспоминаниям* своих листков; или какой-нибудь патриот, горящий любовью к отечеству, когда за столом его патрона пьют *чужое* вино за благоденствие России и забывают об этом благоденствии за французским пирожным! Извините – я не могу говорить равнодушно: предмет разговора близок к моему сердцу.

Чит. Благодарю вас за искренность и уверен, что, зная все слышанное мною от вас, каждый благомыслящий, благонамеренный человек пожмет вам дружески руку.

Соч. Но мы отделились немного от предмета разговора нашего; впрочем, одно идет к другому: литературного поприща моего и клевет на меня в нелюбви к Руси не мог я изъяснить вам, не изъяснив причин ненависти ко мне многих и – *очень многих!* Довольно странно, мне, незначительному члену общества, думать, что я могу споспешествовать чем-нибудь великому делу истинной славы и прямого счастья России. Но и от маленькой былинки есть тень, как говорит, помнится, Гораций (*Etiam capillus unus habet umbram suam.*), и капля есть нечто в океане. Думай и действуй *каждый*, выйдет, что действуют *все*. Солдат, который под Бородиным убил одного француза, исполнил уже свой долг, участвовал уже в великом деле 1812 года. «Если бы я мог действовать – я действовал бы; теперь я говорю» (*Si j'etois prince ou legislateur, je ne perdrois pas non temps a dire ce qu'il faut faire; je le ferois, ou je me tairois.* *Руссо.*). Поприще, на которое судьбе угодно было поставить меня, – *литература*. Смею думать, что если бы я умер сегодня, то благодарный потомок не откажет уже мне в воспоминании и в словах: «Он желал добра».

Семь лет журнала – семь подвигов нелегких! Я передавал соотчикам то, что замечал в Европе достойное внимания, что почитал полезным моей отчизне, и в тоже время смело срывал я маску с бездарности, притворства, порока, сражался с предрассудками закоренелыми, родными и наносными, уличал чванство вельможи и хвастливость педанта, пустоту нынешнего, детского нашего образования и тяжелую грубость нашего невежества. Ошибался я – что делать! я человек! Но никто не видал моей головы, преклоняющейся перед кем-либо, когда душа моя не была исполнена уважения к предмету, мною превозносимому. В «Истории русского народа» мне хотелось особенно показать: как должно смотреть на самих себя с точки высшего патриотизма (не боюсь повторить это страшное для близоруких патриотов слово!), хотелось познакомить русских с европейским воззрением на события минувшего. Кто имел терпение читать все писанное мною, тот скажет, что я один и тот же – под личиною *живописца*¹⁶, во взгляде *историка* и в *критике* на пошлых чад бездарности, невежества и литературного хвастовства.

¹⁶ ...под личиною живописца... – Имеется в виду сатирическое приложение к «Московскому телеграфу» – «Новый живописец общества и литераторы», большая часть статей которого была написана самим Н. Полевым.

Чит. И мы то же найдем и в *былях* и *небылицах русских*?

Соч. Да, я и забыл было, что мы об них сначала заговорили. И в них я тот же, но здесь вы не увидите самого меня. *Были* и *небылицы* суть любимые дети моих досугов. Мне хотелось в них изобразить те отношения народных стихий русских, которых в истории, и во всяком другом роде сочинений, изобразить невозможно, но которые, между тем, знать непременно должно. Разыскания и диссертации не повели бы меня к моей цели. Я решился писать – *были* и *небылицы русские*.

Чит. То есть, русские *повести* и *сказки*?

Соч. Если вы понимаете под словами: *повесть*, *сказка* такие создания, где сочинитель обольщает вас вымыслами воображения, украшая существенность или вводя вас в волшебный мир фантазии, то мои *были* и *небылицы* не то, что *повести* и *сказки*. В *былях* мне хочется, как можно простее и ближе, изобразить вам Русь, прошедшую и настоящую. В *прошедшем* верная нить Истории и повествований старинных поведет меня; только там, где нет изъяснений Истории, позволю себе аналогическое прибавление к известному, Русь, как она *была*, точная, верная картина ее – вот моя цель. В *настоящем* то, что я видел и узнал, что в самом деле *существует* на Руси – изображу, сколько могу вернее.

В *небылицах* – я перескажу вам русские сказки, поверья, игру *народного* воображения; я буду только собиратель и издатель, а не сочинитель.

Чит. Любопытно, как все это вы исполните. *Русские сказки* – хорошо! Давно бы пора за них приняться... Но в *былях*, извините, вы, кажется, увлекаетесь общим порывом нынешним.

Соч. Каким?

Чит. С тех пор, как Вальтер Скотт показал нам образцы *исторических романов*, все в Европе пустились в исторические романы. И у нас на Руси распложается их довольно. Дарования сочинителей *Юрия Милославского*¹⁷ и *Димитрия Самозванца*, *Рославлева* и *Выжигина* соблазнили вас... Признайтесь откровенно?

Соч. Не в чем. Если речь идет об исторических романах, не знаю, почему вы думаете, что В. Скотт *первый* показал нам их? Вы почтете шуткою, когда я укажу вам на Иродота, как на первого исторического романиста; но прошу вас припомнить, что исторические романы давно существовали – у немцев, французов и англичан. Даже у нас, лет тридцать назад, жаловались уже на исторические романы. Вспомните слова Карамзина¹⁸. И тот же Карамзин, задолго до В. Скотта, написал исторический роман «Марфа Посадница»¹⁹. Разница в том, что Карамзин не постигал сущности сего рода сочинений так, как не постигали ее Мейснер, Мармонтель, Флориан, Август Лафонтен, Жанлис²⁰, а прежде их те жалкие романисты, с которыми бранился Буало²¹ (См. Буало «Les heros de roman, dialogue a la maniere de Lucien». В этой

¹⁷ «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) и «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1830) – романы Н. М. Загоскина (1789—1852); «Димитрий Самозванец» (1830) и «Иван Выжигин» (1829) – романы Ф. В. Булгарина (1789—1859).

¹⁸ Вот, что писал Карамзин в 1799 году (см. повесть его «Рыцарь нашего времени»): «С некоторого времени вошли в моду исторические романы. Неугомонный род людей, который называется авторами, тревожит священный прах Нум, Аврелиев, Альфредов, Карломанов и пользуясь исстари присвоенным себе правом (едва ли правым) вызывает древних героев из их тесного домика (как говорит Оссиан), чтобы они, вышедши на сцену, забавляли нас своими рассказами. Прекрасная кукольная комедия! Один встает из гроба в длинной римской тоге, с седою головою; другой в коротенькой испанской епанче, с черными усами – и каждый, протирая себе глаза, начинает свою повесть с яиц Леды. Только, привыкнув к глубокому могильному сну, они часто зевают, а с ними вместе – и читатели сих исторических небылиц». (Соч. Карамзина. Т. IX, стр. 5, 6).

¹⁹ «Марфа Посадница» – не роман, а повесть.

²⁰ Мармонтелевы «Инки, или Падение Перуанской империи»; его же «Велизарий» (бывший в такой славе, что императрица Екатерина сама, с своими приближенными особами, перевела его на русский язык); Флориановы уроды – нечто в роде поэмы и романа, например: «Гонзальв Кордуанский»; Жанлис – «Герцогиня Лавальере», «Госпожа Ментенон», «Рыцари лебедя», и проч.; Мейснера – «Бианка Капелло», «Алкивиад» Августа Лафонтена – «Ромул, Аристомен и Горг», и проч. Добрый Лафонтен написал даже один исторический роман, взяв предмет из нашей истории – «Князь Александр Тверской»!! Не говорим о тысяче последователей всем сим писателям...

²¹ Буало Никола (1636—1711) – франц. поэт и теоретик классицизма; Полевой отсылает читателей к его сочинению – «Герои из романов. Диалог в манере Лукиана» (См.: Буало. Поэтическое искусство. М., 1957).

сатире, Буало осмеивал романы Скюдери, Кальпренеда, Демаре, Гомбервилля, и проч. Нам едва известны теперь имена сих людей, но от их *Киров* и *Клелий* – приходили в восторг и плакали современники. «Comme j'étois fort jeune dans le temps que tous ces romans, tant ceux de mademoiselle de Scuderi, que ceux de la Calprenede et de tous les autres, faisoient le plus d'eclat, – говорит Буало, – je les lus, aussi que les lisoit tout le monde, avec beaucoup d'admiration; et je les regardai comme des chefs-d'oeuvre de notre langue»). В. Скотт постиг сущность исторического романа и разгадал загадку для писателей всех стран. Век догадывался об ней; В. Скотт решил эту загадку, и именно те проигрывают, которые подражают ему (Купер, Г. Смит, Бронниковский), и те выигрывают, которые самобытно творят, как творит В. Скотт (А. Виньи, В. Гюго, Манзони, Цшокке) (Вышеприведенные доказательства, кажется, должны убедить, что *исторический роман* не есть идея, *начавшаяся* в наш век. Мысль: назвать Иродота *первым* историческим романистом, я заимствовал у Нилья. В своей превосходной книге «The romance of History» (Лондон, 1820 г.) Нилья доказывает, что история началась романом, потом отделила от себя философию истории, и по необходимости после сего должен был явиться исторический роман, как *другая половина истории*. В. Скотт *не изобрел* исторического романа: он только *узнал истинную сущность его*. Это Васко де Гама, проехавший в Индию морем. – А. Шлегель прекрасно изъяснил, что такое значит ложное подражание природе и истинное подражание (См. очерк его идей в «Телеграфе» 1831 г., т. XXXIX, стр. 415 и след.). – В теории исторического романа вывод будет один и тот же, ибо исторический роман принадлежит к области изящного. – Скюдери, Мармонтели, Мейснеры, Жанлис брали исторические имена, одевали их по-своему, заставляли их говорить по-своему. У Скюдери Кир и Гораций Коклес плакали от любовных горестей; у Мармонтеля перуанские кацики вольнодумствовали; у Жанлис современники Карла Великого кокетничали, как французские щеголи XVIII века. Нелепая мысль: украшать природу и истину, и в этом заключать *изящное* – все портила: и французскую драму, и исторический роман. Так Карамзин, в «Марфе Посаднице», не довольствовался истиною. Он не понял величия кончины новгородской вольницы, вставил множество звонких, но пустых фраз, речей, выдумал небывалых героев, заставил их говорить по-своему. В. Скотт первый бросил ложную теорию исторического романа. Что исторический роман не достиг еще и у В. Скотта полного совершенства, что В. Скотт не истощил еще разнообразия форм его, доказывают новейшие сочинители исторических романов, последователи В. Скотта. Укажем на трех современников, которые едва ли не выше самого В. Скотта. «Сен-Марс» Альфреда де Виньи, «Обрученные» Манзони и «Церковь богоматери парижской» В. Гюго, по моему мнению, суть огромные, совершенно новые и блестящие творения нашего времени. Истина, с какою, рядом превосходных картин, выразил А. де Виньи: Ришелье, двор и век Людовика XIII; итальянская, оригинальная народность Манзони и глубина страстей, до которой о удивительной отважностью осмелился коснуться В. Гюго, – явления самобытные и далеко превзошедшие все, что писал шотландский романист! Впрочем, кто осмелится оспаривать великие дарования В. Скотта, когда нельзя не сознаться в прекрасных дарованиях даже рабских его последователей – Купера, Г. Смита, Локарта, Бронниковского! Мне кажется, сим последним не достает только самобытности, чтобы сравняться с В. Скоттом. Впрочем – не достает немало; но сами ли они в этом виноваты? Заслуга их, состоящая в том, что верно следуя правилам В. Скотта, они изображают стихии своей народности – американской, английской, польской, – достойна великого уважения. Многие ли это сделать сумеют?]

Чит. Положим, что и так; но все вы идете вслед за авторами «Милославского» и «Самозванца».

Соч. Если бы и в самом деле с В. Скотта надобно было полагать начало исторических романов, то в России первые опыты настоящих исторических повествований явились еще в

1822 году, в «Полярной звезде»²² (Разумею здесь повести А. Бестужева «Роман и Ольга», «Ревельский турнир», «Замок Нейгаузен». Это были *первые опыты настоящего исторического русского романа*). Задолго до «Самозванца» и «Милославского», я печатал опыты *русских былей* в «Телеграфе» (В 1826 году поместил я в «Телеграфе» повесть о походе Димитрия Донского на Новгород. Потом напечатал повесть о падении Суздальского княжества («Симеон Кирдяпа» – это был собственно *отрывок*, который когда-нибудь надеюсь окончить). Другие опыты печатал я в разных альманахах²³). Но дело не в том, я сказал уже вам, что *были* мои совсем не *исторические романы* в роде В. Скотта.

Чит. Что ж это такое?

Соч. Это, чтобы сказать вам короче, – *история в лицах и быт народа в живых картинах*. Барант²⁴ очень мило и остроумно доказывал необходимость *романизма истории*. Прочтите его предисловие к «Истории герцогов Бургундских». Это предисловие мне кажется образцом красноречия, хотя в приложении к истории оно софизм. Любопытно, что говорит Барант о наклонности нашего века к живому повествованию: «Может быть, наша эпоха предназначена для особенной почести исторических повествований. Никогда любопытство не бросалось с такою жадностью на исторические знания. Мы жили тридцать лет в мире, волнуемом столь дивными и различными событиями; народы, законы, престолы так быстро летели перед нами; будущность, даже самая близкая, обременена решением столь великих вопросов, что первое дело нашего досуга и размышления было *изучение истории*. И как бытие каждого из нас, великого и малого, непосредственно соединено с превратностями общими, как жизнь, быт, честь, сущность, судьба, может быть – мнение; словом: каждое состояние и отношение гражданина зависело и еще зависит от общих событий его отечества, или даже целого мира, то ум наш долженствовал взять целью, почти единственную, историю народов. Туда направилась философия, ибо какие причины, какие действия могут быть достойнее разысканий в их источнике? Самой поэзии не внимают ныне, если она не говорит о том, что являет нам столько чудес, возбуждает столько движений. Драма кажется обреченною изображать исторические сцены. Роман, сей род, прежде столь ничтожный и живописью великих страстей сделанный столь красноречивым, увлечен историческим интересом. От романа требуют уже не рассказов о чьих-либо похождениях, но хотят, чтобы похождения сии были живыми и верными изображениями земли, эпохи, мнения; хотят сих изображений такими, чтобы по ним можно было узнавать частную жизнь народа. Не всегда ли составляла она тайные записки жизни общественной?»²⁵

Чит. Умно.

Соч. Главное: слова Баранта верно показывают требование века, объясняют явления *нынешних исторических романов* и, как изображение народности, нынешнюю драму, поэзию и проч. и проч. – В. Скотт, повторяю, только разгадал требование века в отношении романа так, как – не помню кто (кажется, Нодье²⁶) сказал и сказал очень верно, что Байрон *положил на голос песню своего времени*.

Это уже давно предчувствовали. Послушайте, что говорил один холодный, но умный писатель о классической французской драме:

²² «Полярная Звезда» (1823—1825) – альманах декабристов; издавался А. Бестужевым-Марлинским (1797—1837) и К. Ф. Рылеевым (1795—1826).

²³ *Другие опыты печатал я в разных альманахах*. – «Сохатый. Сибирское предание» – Денница. Альманах на 1830 год; «Краковский замок» – Радуга. Альманах на 1830 год; «Постоялый двор» – Денница. Альманах на 1831 год.

²⁴ Барант А. Г. П. де, барон (1785—1866) – французский историк, публицист.

²⁵ «Histoire des Dues de Bourgogne», 2-е издание, Париж, 1824 г. Т. I, стр. XXXII—XXXIV. «Le roman, – говорит Барант, – ce genre autrefois frivole, et que la peinture des grandes passions avait rendu si eloquent, a ete absorbe par l'interet historique. On lui a demande, non plus de raconter *les aventures des individus*, mais de les montrer, comme temoignages vrais et animes, d'un pas, d'une epoque, d'une opinion. On a voulu qu'il nous servit a connaitre la vie privee d'un peuple; ne formetelle pas toujours les memoires secrets de sa vie publique?»

²⁶ Нодье Шарль (1780—1844) – французский писатель-романтик.

«Важный недостаток истории есть тот, что она *рассказывает*, и надобно сознаться, что рассказанные ею дела, будь они представлены в *действии*, получили бы совсем другую силу и особливо приобрели бы для нашего ума новую ясность. Видя представления Шекспирова „Генриха VI-го“, я с любопытством вновь изучаю в сей трагедии все *историческое* о сем государе, жизнь коего была исполнена волнений, столь разнообразных, столь быстрых, что их почти всегда смешиваем мы в своих воспоминаниях. Признаюсь, что сто раз знал и сто раз забывал я события жизни Генриха VI-го. Посему читал я Шекспира в намерении хорошо представить себе события исторические. Я увидел у Шекспира главные лица того времени в действии; они разыгрывали свои роли предо мною; я узнавал их нравы, их желания, их страсти: они все мне рассказали, и я забыл, что читал трагедию; я думал, что со мною говорит историк, и сказал себе: „Для чего наши историки не пишут таким образом? Как подобная мысль донине никому не пришла в голову?“

Правда, история научает нас знать события, но научает холодно, потому, что она умеет только *рассказывать* и часто рассказывает смешанно, какой бы порядок ни принял историк, ибо он недоволен живёт с событиями: одно дело гонит у него другое и каждое лицо уже бежит от нас, едва мы его завидели. В трагедии нашей (французской) другая погрешность, столь же невыгодная для желающего научиться истории, погрешность, которую, довольно справедливо однако ж, трагедия принимает за главное свое правило. Она изображает одно, *главное* действие и, как живопись, схватывает *одно* мгновение. В самом деле, это тайна трагедии, посредством коей возбуждает она участие наше. Это участие охладело бы, если б воображение наше повести по многим, различным действиям. Таким образом, история холодно, в сравнении с трагедией, изображает длинный и верный ряд событий, а трагедия, пустая, без события, в сравнении с историей, резко пишет одно действие, которое взялась изобразить. Для чего не попытаются соединить их? Не выйдет ли из соединения их чего-нибудь приятного и полезного?»

Сквозь ошибки теории видите ли *мысль нашего века*, изъясненную Барантом? А это писал, лет девяносто тому, под ферулою²⁷ французского классицизма, старый президент Гено!²⁸

Чит. Как? неужели? Во Франции! За 90 лет!

Соч. И мысль Гено первый привел в исполнение, в наше время, Вите²⁹. Издавая свои «Баррикады», вот что он говорил:

«Это не театральная пьеса; это исторические события, представленные под форму драмы, но без требования на драму.

Воображаю себе, что я хожу по Парижу, в мае 1588 года, в буйный день баррикад и в предшествовавшие оному дни; что я попеременно, то в залах Лувра, то во дворце Гиза, то в парижском шинке, то в домах граждан, лигистов и гугенотов. Каждый раз, видя живописную сцену, картину нравов, замечая черту характера, я стараюсь схватить их очерки и изобразить их, составляя сцену. Понятно, что из этого выйдет ряд портретов, или, говоря технически – *этюдов, абрисов*, которые, кроме сходства с существенностью, ни на что другое не имеют права.

Но сии сцены не совсем и раздельны; они образуют нечто целое: есть действие, к развитию коего все они стремятся; но это действие находится тут для того только, чтобы представить нам сцены и связать их. Если бы, напротив, я сочинял драму, то надобно бы прежде всего думать о ходе действия; жертвовать, для оживления оно, живописью множества подробностей и частей; возбуждать любопытство задержкою, ставя выпуклее несколько главных лиц,

²⁷ *Под ферулою...* – т. е. под строгим руководством и страхом наказания; ферула (букв. – хлыст, розга) – так называлась линейка, которой били по рукам школьников.

²⁸ Сочинитель Хронологических таблиц французской истории, умерший в 1770 году.

²⁹ *Вите* Луи (1802—1873) – французский политический деятель и драматург.

главных событий, на счет других, и показывая остальное в сплошной перспективе. Я почел за лучшее – изображать все так, как я нашел, выводить на первые места всех людей и все события, по мере того, как они мне представляются, ничего не уравнивая и часто перерывая действия разговорами, эпизодами, как это бывает в действительной жизни. Менее хочу возбуждать занимательности, для того, чтобы срисовывать вернее».³⁰

Вот мысль, вследствие которой явились в наше время *исторические сцены* (Scenes Historiques).

Чит. Но если вы замечаете ошибку в Варантовском *романизме истории*, то, мне кажется, здесь та же ошибка. Зачем сбивать старую теорию? Пишите *историю*, пишите *драму*, пишите *роман*. На месте Вите я творил бы по-шекспировски, а вместо ваших *былей* сочинял *исторические романы*.

Соч. Дай Бог нам ошибок, подобных «Нёильским вечерам», «Театру Клары Газуль», «Баррикадам», «Смерти Генриха III», «Государственным чинам в Блуа», и таких погрешностей в теории, которые были бы подобны очеркам Вите, Мернье, Фонжере³¹. – Я охотно соглашусь на отступление от *классической элегии* и *эклоги*, пусть только будет оно так же хорошо, как изобретенные Немцевичем³² «Думы» и «Селянки» Трембецкого (Опыты «Дум», в подражание Немцевичу, являлись и на русском языке³³. О «Селянках» см. в «Телеграфе», некрологию Трембецкого³⁴). *Исторический роман* – легко сказать!.. Я не так самолюбив: объявляю менее и от меня потребуют менее.

После нескольких небольших опытов, помещенных в «Телеграфе» и разных альманахах³⁵, вот первый опыт *русских былей*, несколько обширнее. Я выбрал для сего время *второй четверти XV-го века*. Вспомните исторические подробности. На престол московский восходит Василий Темный, внук Дмитрия Донского, сын Василия Дмитриевича, укрепителя единовластия в Руси. Это минута решительного перелома: падения татарской власти, падения удельной системы, начала единой державы. За Василием следовал уже великий Иоанн III. Время, мною выбранное, есть время сильных характеров, резких черт, которыми ознаменовываются последние усилия татар, князей и Новгорода против тяготеющей над ними власти Москвы и новой системы государственного и общественного устройства. Взор наблюдателя в то же время не опечаливается слишком резкою мрачностью картин и изображением отчаянных усилий человека в дни бедствий, подобных нашествию монголов или падению Царьграда³⁶. Уже Литва не страшит московского князя; уже татары не кажутся грозными властителями.

Воображаю себе, что с 1433-го по 1441-й год я живу в Руси, вижу главные лица, слышу их разговоры, перехожу из хижины подмосковного мужика в Кремлевский терем, из Собора Успенского на новгородское вече, записываю, схватываю черты быта, характеров, речи, слова и все излагаю в последовательном порядке, как что было, как одно за другим следовало: это

³⁰ Les Barricades. Предисловие.

³¹ К сожалению, ни одно из этих прекрасных явлений, коими ознаменовывается *перерождение* французской драмы в наше время, донныне неизвестно русской публике и она должна верить на слово. Под именем «Нёильских вечеров» (Les soirées de Neuilly) издали свое собрание пьес, взятых из современной истории и современных нравов, Каве и Диттмер, псевдонимически назвавшись: *Фонжере*. Мериме напечатал свои драматические пьесы под вымышленным именем Глары Газуль (Theatre de Clara Nazul). Вите изобразил историю лиги в трех драматических пьесах: «Les Barricades», «Les Etats de Blois» и «La mort de Henri III» («День баррикад», «Государственные чины в Блуа» и «Смерть Генриха III»).

³² *Немцевич* Юлиан Урсин (1757—1841) – польский писатель и революционный деятель.

³³ *Опыты «Дум»... являлись... на русском языке...* – Имеются в виду «Думы» К. Ф. Рыльева.

³⁴ *Трембецкий* Станислав (1739—1812), польский поэт. «Селянки» – Имеется в виду поэма «Зофьявка...» (1806).

³⁵ Мне приходила в голову смелая мысль: всю историю русскую XVII, XVIII и XIX веков изобразить в виде подробной исторической повести. Имея образец в сочинении Баранта, которого «Историю герцогов Бургундских» можно назвать *романической историей*, человек с дарованием и обширным знанием Руси мог бы создать творение великое и прекрасное, которое живописью, разнообразием и глубиной далеко превзошло бы сочинение Баранта. Чувствуя недостаток сил и сведений, я отказался от такого подвига.

³⁶ ...падение Царьграда... – см. комм. к с. 58.

*история в лицах; романа нет; завязка и развязка не мои. Прочь торжественные сцены, декламации и все coups de theatre*³⁷! Пусть все живет, действует и говорит, как оно жило, действовало и говорило...

Чит. То есть, как *могло* жить, действовать и говорить, ибо не в самом же деле с природы списываете вы XV век, через 400 лет, в XIX столетии?

Соч. Знаете ли, что в *настоящем* нам гораздо труднее знать и описывать, нежели в *прошедшем*? Труд надобен большой, но есть возможность совершенно *перенести себя в прошедшее* и хорошо понять его. Вот здесь-то необходимо потребны *высший патриотизм и высшие взгляды*, которые, соединясь с мелким изучением местностей в подробностей, могут верно *преобразить* нам *прошедшее*, давно оконченное, ибо исповедь веков уже ничего не закрывает от зоркого, испытательного глаза. Люди *сказали* все, что видели, слышали, чувствовали, а время, на гробах действователей, *досказало* эпилог жизни их и общества их. «Прейде позорище, братие!» – дописано – открывайте занавес и смотрите! Воображайте, что я, директор русского театра в XV веке, обещал вам представить: *Комедию о том, как Василий Косой и брат его Димитрий Шемяка поссорились на свадебном пире с Великим князем Василием Васильевичем Темным, в 1433-м году, и о том, что из того воспоследовало* – не более! Мое дело обставить сцену надлежащими декорациями и одеть актеров. Ваше – взять мою книгу, перейти мысленно в XV век и читать *русскую быль*. Понравится, полюбится она, что вам за дело – исторический ли это роман, *исторические* ли сцены? Было бы верно, дополняло бы историю и увлекало вас.

Чит. Вы возбуждаете мое любопытство. Боюсь только, что, лишенные романизма, ваши были будут сухи и холодны.

Соч. Это будет уже моя непростительная вина, ибо никакая *выдумка* романиста не сравнится с романом *бытия действительного*, и никакой Шекспир и В. Скотт не скажут нам того, что говорит *человек* и что высказывает нам *жизнь его*.

Чит. Но – еще одно сомнение – верить ли всему, что вы расскажете нам? Ведь вы говорите: *быль*, а может быть, все это будет *выдумка*?

Соч. Помните ли вы анекдот о Суворове? Старик терпеть не мог слова: *не знаю*. Он сердился, бранился, называл за это *немогузнайками*. Все это знали и никогда не говорили ему ужасного: *не знаю*. Идет Суворов мимо солдата стоящего на часах, ночью или поздним вечером. Небо было ясное, тысячи звезд сверкали на голубом пространстве. Суворов остановился, поглядел на солдата и вдруг спросил: «*Знаешь ли ты, сколько звезд на небе?*» – «Знаю!» – бодро отвечал солдат. «*Сколько же?*» – «Сто пятнадцать тысяч четыреста семьдесят две». – «*Врешь!*» – «Извольте перечесть сами; русский солдат не врет». – Суворов отскочил, снял шляпу, низко поклонился солдату и пошел, говоря свое любимое: «*Хорошо, помилуй Бог, хорошо!*» Так и я говорю вам: *быль*; вы *не верите*. – За чем же стало. *Поверьте* меня...

Чит. Хорошо сказано, по-суворовски!

Соч. Уже и та польза будет, что кто станет поверять меня, тот должен думать, обдумывать, соображать, учиться отечественной истории, изучать Русь настоящую и прежнюю. Мне кажется, что в России заставить кого-нибудь *думать* и *учиться* – важная услуга!

Чит. Однако ж, для староверов, вам надобно бы подкрепить мнения свои каким-нибудь *старым* и сильным авторитетом.

Соч. Почему ж и нет? Припомним только Александра Петровича Сумарокова, *действительного статского советника, ордена Св. Анны кавалера и Лейпцигского ученого собрания члена*. Он говорил:

Слагай, к чему влечет тебя твоя природа,

³⁷ *coups de theatre* (фр.) – неожиданная развязка.

Лишь просвещение, писатель, дай уму!³⁸

Или Михаила Матвеевича Хераскова, *действительного тайного советника, члена разных ученых обществ, Московского университета куратора и кавалера разных орденов*. Он говорил:

Во слогах вольный ход поэтам не заказан;
Как новых стран искал Колумб, преплыв моря,
Так новых ищем мы идей, везде паря.³⁹

Чит. Довольно; я с вами согласен во всем, но – послушаем, что скажут другие!

Соч. Примите в заключение добрый совет: *живите своим умом*. Что вам любо, любите, что не любо, не любите, не дожидаясь чужого мнения. Пора, пора опровергать справедливую пословицу, что *русак задним только умом крепок...*

Н. Полевой

³⁸ *Соч. Сумарокова «Эпистола к российским стихотворцам».*

³⁹ Поэма Хераскова «Пилигримы, или Искатели счастья». (См. «Творения М. Хераскова», т. VII).

Глава I

*Воет сыр-бор за горою,
Метелица в поле;
Встала буря, непогода,
Запала дорога...⁴⁰*

Мерзляков

«Экая метель и вьюга: света Божьего не видно!» – сказал старик, входя в избу и отряхивая с шапки своей снег, примерзнувший хлопьями.

– Добро пожаловать, – отвечал хозяин, слезая с печи, – здесь обогреешься и отдохнешь с дороги.

Старик остановился посреди обширной избы, взглянул в передний угол, где на деревянной полочке стояли иконы и теплилась маленькая лампадка, перекрестился три раза, поклонился на все стороны и, оборотись к хозяину с поклоном, проговорил: «Здравствуй, хозяин!»

– Добро пожаловать, – повторил опять хозяин, – аль проезжие?

«Пусти ночевать, добрый человек», – продолжал старик, оттаивая руками длинную свою седую бороду.

– Рады гостям. Много ли вас?

«Пятеро».

– Куда Бог несет? Аль в Москву?

«В Москву, родимый. Хотели доплестись до Петрухиной, да такая кура – падает и мерзнет...»

– Что за дорога в эдакую метель! сгинешь ни за что! У нас про вашу милость все спасено, – говорил хозяин, стаскивая с палатей овчинный нагольный тулуп и надевая его. – А откуда Бог несет? – спросил он, зажигая длинную, сухую лучину.

«Из Ярославля. Везем рыбу в Москву. Говорят: там теперь она в цене».

– Бог цену строит; да как и не бывать ценам: чай наехало в Москву народу гибель; ведь теперь дело праздничное, да и веселье княжеское...

Так разговаривая, хозяин и приезжий пошли из избы. Сильный ветер хлынул в дверь, когда они растворили ее. Заслонив полою тулупа лучину, хозяин светил старику, говоря: «Зги не видать! Экую Бог дал погодку!» – шел к воротам.

Работник хозяина, почесываясь, брел по двору с большим ключом. «Пусти проезжих, да дай сена и овса», – сказал ему хозяин. Молчаливое исполнение было ответом.

Широкое, во все ворота, полотенце заскрипело на деревянных петлях и отворилось. Пять возов, закрытых рогожами, въехали на двор и остановились под соломенным навесом, которым огорожен был со всех сторон двор хозяина. Проводники с трудом распрягли лошадей измерзшими руками и от времени до времени бранили смиренных животных. Между тем словоохотный хозяин стоял подле приезжих и уверял их, что у него кадушка для овса новгородская, сено хорошее, луговое, и на ужин щи со *свежиною*, каши сколько съешь и пироги с капустою. «Доброе дело, благословенное дело! – отвечал старик. – Скажем спасибо хозяину и хозяйшке поклон положим».

– Уж эта Москва, все шепетко ходит, – ворчал длинный, сухопарый товарищ старика, – в пирогах-то, чай, хоть выспись, а в щах и неводом ничего не поймаешь, не только ложкою.

«Что, товарищ, что?» – подхватил хозяин, подходя к нему, и, видя неповоротливость лошади его, махнул полою тулупа своего, прикрикнув: «Ну, кормилица! вишь, как упарилась!»

⁴⁰ Эпиграф – Строки из песни «Чернобровый, черноглазый...» Мерзлякова Алексея Федоровича (1778—1830).

– Да, упаришься, хозяин, – отвечал старик, свертывая веревку, служившую ему вместо вожжей, и выкидывая ее на воз.

«Хозяин! ты видно двора-то не топишь!» – заворчал опять сухощавый.

– Топлю, да не нагревается, – отвечал хозяин, смеясь.

«Да как и нагреться: смотри, какие у тебя лазей в навесе-то, – возразил сухощавый, – бык пролезет».

В самом деле, соломенный навес, которым около плетня обнесен был кругом весь двор, во многих местах обвалился; гнилая солома едва держалась в других местах; снег веяло во двор, и груды его намело под навесом.

– Да вот все собираюсь строиться, – отвечал хозяин, – и не хочется уж поправлять старого.

«Кто кладет заплату на ветхую ризу! – усмехнувшись, прибавил старик. – Продерется, и горше старого дыра будет».

В это время вступили в разговор другие товарищи старика, до сих пор молчавшие. – «Хозяин! где же поставить лошадей? Нигде места нет!»

– Как нет? Да вот тут к колоде.

«Да смотри, какой сугроб, они околеют у твоей колоды».

– Что за сугроб? – воскликнул хозяин и пошел показать, что снег не глубок; но едва ступил туда, как ушел по колени в снег. Не теряя бодрости – настоящий русский человек – оборотился он назад и прибавил: – Ничего, лошадки пообомнут, да еще лучше поедят.

В нерешительности остановились приезжие; но старик между тем подтащил сани к хлеву и растягивал хребтук между оглоблями, приговаривая: «Господи, благослови!»

Тут услышали шум подле закутки, где лежало сено. «Давай еще! – запальчиво говорил кто-то. – Ведь не даром у тебя берут, так и ты меряй по-христиански».

– Что, что там? Ась? – проговорил скоро хозяин и пошел к тому месту, где шумели.

«Видно, Еремку-то обмерять хочет москвич, – сказал сухощавый. – Уж нечего сказать: сенишко, что твоя осока, и то меряют, словно брагу добрую, с пеной».

– И, брат Гриша, – отвечал старик, – стольный град: на мошеной дорожке и хлеб плохо родится; одних бояр московских не перечесть, а всякий есть хочет; так нашему брату, мужичку, и плоха разжива – покривишь душою поневоле...

«Полно, даст ли себя москвич в обиду: жиды обманет и цыгана проведет! Недаром идет пословица, что Москва бьет с носка».

– Не осуждай, да не осужден будешь, брат Гриша! Подумаем о своих грехах... Ну, ну, мать родная! шевелись! Эх, Гнедко! устарел я, устарел и ты, а то-то был конь добрый... У старого коня, видно, не по старому хода.

«Что теперь доброго на белом свете остается... – ворчал с досадою Гриша. – Наше времечко не вашему чета, дедушка Матвей! Прежде и люди-то жили подолее, да и души-то у них были посветлее».

– Что за молодежь такая стала, Божьи вы дети! – смеясь отвечал старик. – Время все одно, и люди все одни и те же. Доживешь до седых волос, так при тебе станут жаловаться на тогдашнее, а хвалить твое, нынешнее, время. Так уж белый свет ведется...

В это время торжественно шел к ним хозяин. Его поворотливый язык успел уже кончить все затруднения между работником его и товарищами дедушки Матвея. Товарищи старика шли с веревчатыми плетушками, набитыми сеном.

– Что у вас там было? – спросил сухощавый Гриша,

«Видишь: сено не нравится, *не хорошио*, говорит, а посмотри какое уедчивое. В убыток, правое слово, в убыток!» – отвечал скороговоркою хозяин.

Молчаливо задавали лошадям своим сено приезжие. Хозяин махал руками, иззябнувшими от сильной стужи, и не переставал говорить: «Нет, братцы-ребятушки, уж если у меня подмен да обвес, так где и правды искать. Просим и напредки жаловать к Пимену Пантелееву!»

Нас, слава те, Господи! добрые люди не по один год жалуют, да и бояре не объезжают. Вот о Семенове дни минет двенадцатый год, как отец покойник (дай ему Бог царство небесное!) застроил этот дом, да сколько хлеба-соли едали в нем добрые люди, с благословением! Ведь у нас Москва недалеко: чуть что, так и туда... Калач не успеет остынуть, как здесь очутится...»

На улице снова послышался скрип полозьев по снегу и крик на утомленных лошадях. Хозяин поспешил за ворота; но едва выглянул, и опять спрятался поспешно, задвинув ворота засовом.

– Пусти ночевать, эй ты, кто тут! – закричали охриплым голосом с улицы.

«Места нет, кормилец!» – отвечал хозяин сквозь ворота.

Удар дубиной в ворота был приветствием на ответ. Ругательства раздалась затем, и снова хриплый голос требовал ночлега.

«Ступай к соседу: у него просторно и светло, у меня тесно и холодно...»

– А вот я тебя разогрею с правого угла, окаянная собака!

«Эх, родимый! ну что проку будет... Слушай!» – Хозяин что-то шептал сквозь затворенные ворота; с улицы голос говорил тише и тише.

– Что он там, колдует что ли? – спросил Гриша у старика, который сомнительно стоял посреди двора и, сквозь порывы вьюги и метели, прислушивался к разговорам хозяина.

«Нишкни! – отвечал старик, поднимая рукавицы свои с земли, – казенный обоз, прости нас, Господи! разве не слышишь?» Гриша и товарищи его разинули рты и выпучили глаза.

Скрип и шум снова раздалась на улице. С радостным восклицанием: «Провалился!» – хозяин шел к приезжим.

– Как ты отнекался от него, добрый человек? – спросил дедушка Матвей.

«Вестимо как: поплатился».

– С нас и сдерет! – заворчал Гриша. – Хоть бы деньги-то пошли в княжескую казну, а то какой-нибудь обдирало, пристав, берет себе подать с православных, а они друг на друга вымещают.

«Прикуси язык, Григорий», – пробормотал дедушка Матвей. Все пошли за хозяином. Изба, в которую вступили хозяин и гости, была обширная, четырехугольная хоромина, у которой в середине одной из бревенчатых ее стен прорублены были низкие двери; днем освещалась она двумя небольшими окошками на улицу, прямо против дверей бывшими, снаружи украшенными грубою резьбою и раскрашенными, отчего и назывались они *красными*; третье, маленькое, продолговатое отверстие, задвигалось доскою и составляло так называемое *волоковое* окно. Огромная печь, безобразная громада кирпичей и глины, занимала левый угол от самых дверей и доходила до половины избы. На правой стороне от дверей, выше печи, были положены доски на перекладинах и прибиты гвоздями; это называл хозяин: *полати*. Под ними, на земле, был помост, уложенный измятою запачканною соломой; вокруг трех стен были устроены лавки. Огромный стол, с выдвижною сбоку доскою, придвинут был в переднем углу к лавкам, под самые иконы. Ящичек с солью, фигурно вырезанный, и жбан, с опущенным в него деревянным ковшом, составляли украшение стола. То и другое было когда-то выкрашено, но краска была уже не видна от частого употребления. Другой угол против печи отделялся запачканною занавескою, за которою настлано было несколько досок. Пол всей избы составляла крепко убитая земля, сырая от снега, нанесенного на ногах и растаявшего. Окошки затекли льдом, ибо в избе было холодно и сыро. Потолок и стены ее были закоптелые, черные, потому что печь была без трубы. Когда топили ее, дым шел в обширное отверстие печи, расстилался облаком по избе и выходил в двери, которые на тот раз всегда отворяли, даже в самый жестокий мороз. Обитатели во время топления печи лежали на лавках, чтобы не задохнуться, или уходили из избы. Топление было обыкновенно поутру; тогда варили кушанье и запасались теплом на целые сутки, закрывая потом печь, которая, разогревшись, делала в избе два разные климата: на полатах и на печи был ужасный жар, внизу холод, так что мороз, снеговыми, кур-

чавыми полосами выходивший сквозь стены, оставался целую зиму не тающим, как снега на вершинах Кавказа. В избе, кроме хозяина, жены его, матери-старухи и детей, жили и мелкие домашние животные, свиньи, телята: им предоставлен был помост под полатями, и дерзкий теленок, спрыгнувший с помоста, принуждаем был опять криком хозяйки или ударом ухвата снова убираться в свое отделение. Только космополит-кот имел право занимать место, где ему угодно. По приходе гостей он спрыгнул со стола и сел в лукошко, висевшее на веревках, прицепленных к длинной палке: это была люлька, где укачивали ребенка; но теперь была она пуста: все дети хозяина спали на печи, в углу, на изорванном войлоке.

Такое убежище дедушки Матвея от вьюги и метели освещалось *светцом*, лучиною, воткнутою в железную скобу. Неопрятная, в испачканной шубе хозяйка и старуха, мать хозяина, сидели подле светца, пряли с одного гребня и переменили лучину, когда она догорала, зажигая новую, которую брали из кучки готовых лучин, подле них лежавшей. Остатки прежней бросали на землю и она дымилась и чадила.

Не великолепно было убежище, но неопрятность и бедность его не удивляли, казалось, приезжих. Они спокойно отряхивали с себя снег, молились, кланялись хозяйке. На приветствие: «Бог на помощь!» – ласково выговоренное дедушкою Матвеем, хозяйка, до тех пор молчаливо занятая своею работою, встала, поклонилась в пояс гостям и покорным голосом проговорила: «Благодарствую, добрый человек! добро пожаловать!»

– Ну, баба! поворачивайся, угощай гостей: что есть в печи, все на стол мечи! – загремел хозяин. Он успел уже скинуть тулуп, остался в каком-то полушубке и ставил мелом на закопченной стене метку о количестве сена и овса, взятого приезжими,

«Да, благословенная хозяйюшка, – говорил дедушка Матвей, распоясываясь и отряхивая снег, – ты, конечно, не заставишь нас зубы в мощню спрятать, а задашь им работу. Кто протащился верст десятка два, не на подрядной, а на своей паре, тому надобно покормить вот этого дурака!» – он ударил себя по довольно огромному своему брюху.

Неутомимый хозяин, отодвигая в это время стол от лавки, успевал говорить со всеми, кричать на жену и не пропустил отвечать на прибаутку старика.

– Э, приятель! да неужели у вас в Ярославле только по одной паре ног дается каждому, и то на всю жизнь?

«А у вас в Москве разве по четыре ноги у каждого?» – спросил старик.

Все захохотали, хозяин тоже, но он оправился и отвечал без замешательства: «Нет, не по четыре, а по шести: у каждого москвича есть лошадка, а как он сядет на нее, так у него две, да у лошади четыре, ан шесть».

– А правда ли, – спросил Григорий, – что зато у шести москвичей один зипун?

«Всяко случается; да ведь у нас такие широкие шьют, что шестеро завернутся, да еще место останется».

– Не этого ли места доспрашивался у тебя давешний казенный обоз? – спросил дедушка Матвей, залезая за стол в передний угол. Он успел уже скинуть свой тулуп, растянул его на полатях и повесил опояску на стенку. В суконном синем полукафтани своем, с широкою, седою, как лунь, бородою, плешивою головою, которую покрывало немного волосов, с светлым, красным, свежим лицом, оживленным добротою и умом, дедушка Матвей внушал невольное почтение окружающим. Садясь за стол, он благоговейно сделал несколько поклонов перед иконами, творя молитву. Потом оправил он свою бороду и пригладил голову. Видно было из всего, и из уважения к нему товарищей, что это богатый старик.

Товарищи его, одни не скидали тулупов, другие, скинув, остались в изорванных зипунишках. Глупое бесчувствие видно было на лицах их, прикрытых густыми, рыжеватыми и льняного цвета волосами. Только один Григорий отличался какою-то злобною усмешкою и как будто беспрестанно искал случая зассориться.

– Уж эти нам казенные обозы, – сказал хозяин, вытаскивая огромную ковригу хлеба из запачканного ящика лавки. – Не князя, не бояре съедают нас, а вот эта мелкота. Дубина у нее в руках, словно грамота на добро всякого православного.

«Да разве у вас худо смотрят за ними? Нет, вот у нашего князя Александра Феодоровича не слишком-то смеют они вольничать да поборничать».

– И у нас не велено им озорничать; да где, дедушка, суда сыщешь? До Бога высоко, до князя далеко! Пробьешь лоб поклонами, пока добьешься до правды. – В это время хозяин резал большим ножом толстые ломти хлеба, во всю ковригу, и складывал их на столе перед стариком,

Дедушку Матвей бормотал что-то вполголоса. Можно было только расслушать текст Святого Писания: «Горе земле, в ней же князь юн!»

Хозяйка не вмешивалась в разговоры, но усердно хозяйничала. Крестясь при каждом деле, творя молитвы при каждом порыве бури и вьюги, колеблющем углы дома, она разостлала замаранный столечник на стол, поставила большой деревянный кружок, положила два ножа и пять грубо сделанных деревянных ложек, или продолговатых ковшиков, с длинными ручками. Наконец пошла она к печи. Взоры приезжих следовали за ее движениями, как будто нетерпеливо хотели узнать, что явится из этого убежища съестных припасов. Но хотя хозяин наговорил много об изобилии ужина, хозяйка, светя в печь лучиною, искала, казалось, с большим затруднением, какого-нибудь одинокого горшка, в углу ее стоявшего. Вскоре однако ж горшок нашелся. В огромную деревянную чашу налиты были щи из горшка; на кружок положена какая-то мостолыга, весьма скудная мясом. «Кушайте на здоровье, добрые люди!» – сказала хозяйка, кланяясь.

Осмотревшись кругом и видя, что хозяин ушел куда-то, Григорий проворчал, косо взглянув на дедушку Матвея: «Жиденьки щи-то! Хоть дубиной ударь, так пузырь не вскочет...»

Дедушка Матвей улыбнулся, взял ломоть хлеба, переломил его надвое; из одной половины ломтя два крепкие ряда зубов старика выкроили полукруг; с прибавлением щей в несколько минут в руках его исчез ломоть хлеба. «Ну, братия! приударьте-ка в свои костыльки!» – сказал он при начале; товарищи последовали его примеру: началась работа; тишина нарушалась стуком ложек, которые, сквозь вьющийся над чашею щей пар, казались орудиями истребления. Работа была столь усердна, что пот выступил на лбах работавших и лица их сделались красны, как свекла.

Мы забыли было сказать, что это производительное истребление припасов хозяйки освещалось уже не лучиною, но грубым светильником особого рода, который, кажется, светит без перемены через века, начиная с кровавых пиршеств скифских дикарей до нынешних скудных крестьянских обедов. Ужин дедушки Матвея и его товарищей освещал точно такой вековой светильник. Это было плоское, глиняное блюдечко, утвержденное на деревянной долбешке, налитое салом и жиром всякого рода; опущенный в него длинный, узенький лоскуток холстины, круто свитый, придвинут был к краешку блюдечка и зажжен. Все это называлось *жирником*. Искусство поддерживать ровный свет от жирника надобно было немалое; должно было беспрестанно поправлять его, то выдвигая из жира, то вдвигая в жир лоскуток холстины, который или делался темен от нагара, или пылал слишком ярким огнем. Дедушка Матвей, казалось, знал это искусство в совершенстве. Когда чаша щей опустела и Григорий начал резать мясо с мостолыги, а потом крошить его в куски, на деревянном кружке, в два ножа, дедушка Матвей утер пот рукавом рубашки и занялся исправлением жирника, едва не угасшего от грубой поправки его товарищей. Разговор, пока все они ели, состоял из отрывистых речей, намекавших, то на дорожные их приключения, то на лошадей, то на цену рыбы в Москве. Разговор этот был непонятен постороннему, испещренный собственными именами: дядя *Андрей*, *Еремка*, *Сидорка*, *Гришуха*, *Пафнутьевна*, *Козел*, *Гнедко*. – «А что, кормилица, – сказал вдруг дедушка Матвей, оборотясь к хозяйке, – много едет в Москву обоза с рыбою?»

– А Бог весть, родимый, – отвечала хозяйка, положив на стол два черствых пирога и поставив горшок крутой каши. Пироги состояли каждый из большого, надвое перегнутого, хлебного пласта. Горшок с кашею был огромный, и большая яма в затверделой почве каши доказывала, что уже дня три тому был этот горшок из печи и много народу принималось после того питаться твердою его почвою. Кружок с искрошенным мясом посыпан был щепоткою соли; собеседники начали брать куски мяса пальцами, разломив пироги, по цвету и вкусу которых трудно было догадаться: пшеничные или ржаные они были? Заедая слова пирогом, дедушка Матвей продолжал разговор с хозяйкою.

«А что, не останавливался у вас в деревне воевода ростовский? Кажись, он здесь хотел ночевать».

– А кто ж его знает.

«Давно ли прошли здесь свадебные обозы нашего ярославского князя?»

– Не ведаю, родимый! – отвечала хозяйка, вертя веретено и подняв глаза на дедушку Матвея с совершенным бесчувствием. Старуха, сидевшая подле хозяйки и прявшая непрерывно, с самого приезда гостей, во все время не говорила ни слова. Казалось, что иногда в этом остатке костей и жил, совершенно лишенном мяса, возбуждалось желание что-нибудь сказать; но усилие оканчивалось кашлем, который не приводил однако ж в движение глубоких складок грубой, медного цвета кожи, присохшей к костям на лице старухи. Можно было видеть, что сии складки положили на лице ее заботы мелочные о вещественном существовании, труды телесные, скорби тяжкие и нужды. Складки сии не выставлялись резкими, ломаными чертами – могилами страстей; но были похожи на слои в пне дерева, из которых каждый означает только год его физического существования. Глаза старухи, подобясь двум оловянным кружкам, глубоко укатились в глазные впадины, как будто боясь глядеть на свет, где так много времени означено было для них только единообразным зрелищем бедной, заботливой жизни и нужд непрерывных. Но звучный голос дедушки Матвея, казалась, произвел наконец действие, хотя не голоса, но эха в груди старухи. С сильным кашлем выкатились у нее изо рта слова: «Эх, кормилец! наше бабье дело: где нам все это знать!»

Дедушка Матвей встал в это время из-за стола, молился, оставя других доедать кашу, которою наполнена была огромная чашка вровень с краями и полита квасом. Поклонившись на все стороны, с словами: «За хлеб, за соль благодарствую, православные», – он отвечал старухе: «И вестимо, бабушка! Кто больше нас знает, тому и книги в руки, а худо, когда курица петухом поет и баба много ведает».

«Что, дружище, – сказал он потом хозяину, который в это время вошел в избу, со своим работником, – лучше ли на дворе?»

– Кажись, вывездило с востока, – отвечал хозяин, – а все еще метет да кутит.

Ужин был уже в это время кончен. «Сбирай-ка ты со стола, баба-бабарица! – воскликнул хозяин жене своей. – К нам еще редкий гость приехал».

– А кто? Из Москвы? – спросил дедушка Матвей, надевая тулуп свой.

«Знакомый человек, – отвечал таинственно хозяин. – Он не будет лишний: добрый человек никогда лишним не бывает». Подобными апофегмами многие любят заключать свои речи.

– Вестимо! – промолвил дедушка Матвей. – Ну, братия! пойдём-ка мы напоить лошадей, да пора и на печку; старая спина назяблась, надобно ее пораспарить.

Не подпоясавшись, надев тулупы нараспашку, пошли все приезжие из избы.

Глава II

*На пасмурном его челе
Сидит глубока дума в мгле.
Державин*

– Скорее, живее! – Так понукал жену свою хозяин, обмахивая лавки полою своего тулупа.
«А кто ж это приехал? Да куда поздно!» – проговорила хозяйка, сметая со стола крошки замаранную тряпицею.

– Ну, молчи, коли не спрашивают! – вскричал хозяин.

Но женщины всегда и везде женщины. И на этот раз любопытство хозяйки доказало, что, несмотря на вечное безмолвие в присутствии мужа, она не совсем была лишена благородного побуждения: *знать*, чем отличается человек от животного. Работник стоял за занавескою. Как собачонка, обнюхивая объедки ужина приезжих, он нашел корки хлеба и жевал их, с размаха пощелкивая зубами и кряхтя от холода. Быв почти целый день на морозе, он пришел в состояние какой-то околелости: не мерз, не зяб, а креп только, имел способность двигаться и говорить, но думать и размышлять уже не мог.

Шепот хозяйки показывал, что она расспрашивает его о новых приезжих.

«А Бог знает! – отвечал хриповатым полуголосом работник. – Трое; одного-то, как-то раз я видел. Помнишь, когда о радунице⁴¹ проезжал он... Боярский дворецкий что ль...»

– А, э! – проворчала хозяйка, – да, тот милостивый человек...

«Ну! да; да какой же он здоровенный!»

Этот разговор был прерван приходом двух людей, которых хозяин встречал в сенях, кланяясь непрерывно и говоря: «Милости прошаем! Да за ваше незабытье и Бог вам заплатит, что не забыли нашего двора...»

Человек, к которому относились сии слова, был высокого роста, красный от холода, с курчавою рыжею бородою, плотный и, по-видимому, силы необычайной. За ним шел старик, худенький, невысокий, с жидкою седою бородою. Оба новые приезжие по одежде походили на купцов и казались одного звания. Волчьи шубы их были покрыты сукном, высокие шапки их были из лисьего меха, огромные теплые сапоги надеты были на их ноги.

Приветствия хозяина не обратили на него никакого внимания старика. Он мимоходом перекрестился, распоясался и сел на лавку молча.

Товарищ его, горделиво, промолвил *спасибо* хозяину и просил поскорее задать овса их лошадям.

– Иду, милостивец мой! – отвечал хозяин, – да не прикажешь ли чего еще?

«Ничего, ничего! Мы только дадим съесть кадушку овса лошадям и тотчас поедем! Лошади умучились по этой окаянной дороге...»

– Да куда это, батюшка, Бог несет? – робко спросил хозяин.

«Куда глаза глядят... Ступай-ка, ступай!»

– А боярин-то Иоанн Димитриевич здравствует ли – дай ему Бог здоровья и долгие веки?

«Здравствует, здравствует! Ступай же, приятель».

– Ну, слава тебе, Господи! Иду, иду!... Ох! ты, мой милостивый благодетель и попечитель, и благодетель...

Последние слова произнесены были уже за дверьми. Работник поплелся за хозяином. Старуха убралась в это время на печь. Хозяйка выставилась из-за своей занавески и низко

⁴¹ *Радуница* – день поминовения умерших; приходится на первую неделю после пасхи.

поклонилась. «Здорово, моя родимая!» – сказал толстяк, и она опять скрылась в свое заветное отделение.

– Кто у него тут? – сухо промолвил старик. «Жена», – отвечивал толстяк. Недоверчивый взгляд старика, казалось, спрашивал еще о чем-то. Хозяйка, тихо глядя из-за своей занавески, удивлялась, что толстяк, всегда казавшийся ей столь великим человеком и равным старику при других, смиренно стоял перед ним, когда думал, что их никто не видит. – «Человек надежный... – промолвил толстяк тихо. – Я давно его знаю...»

– А возы какие у него? Что за народ? – спросил старик отрывисто.

«Крестьяне; рыбу везут в Москву».

– Чтобы скорее все скипело, смотри. Окаянная дорога! где бы мы теперь были! – Тут старик встал и начал ходить по избе. – Я иззяб; здесь холоднее надворья. Где фляжка?

«Принесу мигом!» – отвечал толстяк и бросился вон из избы

Старик продолжал ходить. Его яркие глаза обращались во все стороны. Хозяйка невольно испугалась, смотря на его сердитые движения. Тут вошел в избу дедушка Матвей. Он спокойно поклонился старику, повесил свою шапку на гвоздик и осматривал незнакомца с головы до ног. «Ну, погодка!» – сказал он, как будто желая завязать разговор.

– Худа? – спросил незнакомец отрывисто. – Божья воля! Что делать! – промолвил он.

«А куда это ваша милость изволит ехать?» – спросил опять дедушка Матвей, садясь на лавку и начиная развязывать лапоть свой.

– Из Москвы едем. – Незнакомец продолжал ходить по избе.

«Сметь ли спросить вашу честь: купец, ваша милость?»

– Да, торговой статьи.

«Благослови же вас Господи. А лошадки ваши добрые, хоть бы боярину такие».

Незнакомец не отвечал ни слова. Дедушка Матвей также замолчал, скинул лапти, расправил свои онучи и, босыми ногами пройдя по избе, отдал лапти своей хозяйке. Она открыла заслонку у печи и бросила их в печь. Не подумал бы кто-нибудь, что лаптями дедушки Матвея она хотела заменить дрова. Нет! прадедовский обычай: *сушить лапти в печи ночью*, проходивши в них день, можно видеть у наших крестьян доньше. После того дедушка Матвей принялся читать молитвы на сон грядущий, стоя перед образами.

Совершенную противоположность представляли дедушка Матвей и старик, продолжавший ходить взад и вперед по избе. Ему *не сиделось*, как говорится. Смотря на дедушку Матвея, можно было видеть, что жизнь его всегда протекала в тепле тихих ощущений души и сердца, а светлое лицо его подобилось закату солнца в осенний, ясный день. Как беззаботно и доверчиво смотрел он в молитве своей на окончание дня, проведенного им в труде, и начало ночи, которую отдавал беспечному покою! Сердечная веселость оживляла его доброе, здоровое лицо, показывавшее чертами своими природный, хотя и необразованный, ум. Незнакомец был также старик, как и дедушка Матвей, – но какая старость гляделась из его сухого, морщинчатого лица – Боже великий!... Старость, заключающая собою день, бурный, как вьюга на степях приволжских, или кура в лесах сибирских! Волосы старика не белели, подобно снегу старости, упавшему на голову дедушки Матвея, но желтели, как будто желчь, выведенная старостью из соседства сердца, разливалась по всему телу старика и виднелась сквозь его сухие волосы. Яркий, беспокойный взор его с негодованием обращен был на все его окружавшее, когда самые неудобства бедного быта дедушка Матвей умел представить себе чем-то хорошим.

«Видно, этому купцу не хочется отдохнуть», – думал дедушка Матвей, лезя на горячую печь, расстилая на ней свое полукафтанье и готовясь спать. В это время возвратился толстяк и принес фляжку с чем-то; старик сел за стол; из дорожной сумы вынуты были серебряная маленькая чарка и белый калач. Молча налил старик чарку из фляжки, выпил, налил еще, опять выпил и, обратясь к спутнику, сказал ему по-татарски: «Пей, если хочешь».

Дедушка Матвей смотрел с печи на все движения собеседников и, разумея немного татарский язык, мог понимать, что они говорили.

«Это меня согревает, – сказал старик. – Но здесь так гадко и холодно... Настоящие скоты – со скотами и живут...»

– Добрые люди, – промолвил толстяк тихо. «Убирайся к шайтану, с этими добрыми! Я сам им верил прежде, а теперь вижу, что Махмет-Айдар прав: все это стоит только – быть повешенным! Это бумага, на которой пиши, что хочешь. Дорого написанное, но надолго ли, когда написанному сегодня, завтра перестают верить? – Осмотрел ли ты повозку мою?»

– Все цело. Еремка стоит при ней; лошадей через час станем запрягать.

«А мой ящичек?»

– Вот он.

Старик осмотрел замочек и печать на маленьком ящичке, который толстяк подал ему. Со злобною усмешкою, он потрянул ящичком и примолвил: «О! я за него не вольму дешево... Они увидят, проклятые злодеи, что я в состоянии с ними сделать! Далеко ли до нашей подставы?»

– Верст десять.

«Какая досада, какая досада! Время течет золотое и невозвратно! Неужели лучше этого гадкого двора здесь нельзя было найти?»

– Все набито обозами. Метель загнала во все дворы множество подвод и проезжих, а после этой деревни верстах на десяти почти нет жилья. Лошади не шли – ты не велел жалеть их от самой Москвы.

«Только бы довели, хоть издохни они.»

Разговор прерван был приходом хозяина, товарищей дедушки Матвея и хозяйского работника. Почтительный вид и голос, каким говорил толстяк с неизвестным стариком, тотчас пропали. Движения его сделались свободны, голос громкий.

– А что, дядя Федор, – сказал он неизвестному старику, как будто нарочно желая показать, что он с ним ровня, – не лечь ли тебе отдохнуть. Чай, старые твои кости болят?

«Да, – отвечал старик, невольно улыбаясь, – но дорогой отдохнем лучше». – Он начал опять ходить по избе, неровными шагами.

«Хорош ты купец! – думал дедушка Матвей, лежа и соображая все им слышанное и виденное. – Бог знает, чем-то ты изволишь торговать... Уж не христианскими ли душами! А я готов голову прозакладывать, что ты не то, чем кажешься. Экая пропасть: старому человеку, да еще притворяться! Стоит ли доброго слова на старости лукавить и думать еще о чем-нибудь другом, кроме спасения души...»

Товарищи дедушки Матвея залегли на полатах и на печи. Работник хозяйский улегся подле телят и других животных, в углу, на соломе. Хозяин сел за занавескою ужинать. Толстяк положил шапку, кушак, рукавицы в головы на лавке и лег не скидая шубы своей. Разговор хозяина с толстяком не прерывался с самого прихода хозяина. Проворно работая зубами, хозяин успевал отвечать на вопросы толстяка и в то же время жевать, хлебать.

– Тебе, видно, хозяин, и уснуть-то, и поесть-то не удастся порядком? – спросил его толстяк.

«Э, милостивец ты мой, благодетель! Сон наш соловьиный, ходя наешься, стоя выплещешься. Была бы работишка. Теперь-таки, слава тебе, Господи! проезжих много...»

– Да, что ты не пообстроишь избы-то понаряднее? «В наше ли время, милостивец, думать о постройке. – Живешь день за днем, только бы прожить. Того и смотри...»

– А что: *смотри*?

«Да то, благодетель, милостивец, что ваше дело не то, что наше крестьянское: нам много не приходится говорить; да и что мы знаем! Мало ли что народ болтает, всему ли верить станешь...»

– А коли не веришь, так о чем же и забота тебе?

«Мало ли что – не заботился бы; но ведь, когда туча Божья над головою, так все равно, боярин ли, крестьянин ли, а боятся вместе, чтобы гром не грянул».

– Полно, приятель, не все ли тебе равно, чтобы ни случилось? Уж конечно, тебе хуже не будет.

«Бог весть! При худе худо, а без худа и того хуже».

– Что же ты разумеешь под *худом*, без которого будет *хуже*?

«Да что, милостивец, мои слова не с разума говорятся, а так, что ветер нанесет. Вам в Москве больше нашего знаемо бывает...»

– О, в Москве большие чудеса подеялись в последнее время!

«Неужто и в самом деле? – воскликнул хозяин. – Вот недаром же мне сказывали!» – Голос его показывал нетерпеливое любопытство.

– Вот видишь: по Красной площади в Кремле шел козел с козю, а по Балчугу⁴² петух с курицею и разговаривали промеж себя: «Что, дескать, ныне за время такое нашло: зимой снег идет, а летом дождь каплет, а посмотришь – все вода да вода...»

Тут задумчивый старик засмеялся в первый раз, проговоривши: «Экий шут!» Хозяин, с полуоскорбленным ожиданием, также засмеялся.

«Шутить все изволишь, милостивец!» – сказал он.

– Вот еще: шутить! Какие шутки! Разве ты этому не веришь?

Хозяин прокашлялся с самонадеянностью, как будто давая знать, что и ему кое-что известно и что московские знатные люди не должны себе воображать их брата, мужика, человеком ничего не понимающим и не знающим.

«Нет, милостивец, – сказал он, – просим прощения, а не во гнев вашей милости будь сказано, так оно вот что...»

– Что, что такое? Скажи-ка, братище, весточку, да не погреси против девятой заповеди!⁴³

«Слышно, благодетель-милостивец, что Москве-то теперь куда жутко приходит, с тех пор, как милостивый и великий боярин и архистратиг земли Московской Иоанн Димитриевич отказался от Великого князя...»

Незнакомый старик вдруг остановился и дал знак толстяку, заметив, что тот хотел остановить речь хозяина.

«И что Василий Ярославич⁴⁴ без того сестры своей под венец отпускать не хочет, пока Великий князь ему отдельной, опасной грамоты не подпишет».

– Ну, что же тут?

«Да то, что и *да* беда, и *нет* беда! Подпиши, так тогда матушку Москву по клокам разорвут: Рязани свое, Ярославлю свое, Твери свое, Новугороду свое; не подпиши – так вороньем налетят со всех сторон... Князь молод, доброго советника у него нет...»

– Молод, да умен! – сказал толстяк с усмешкою. «Эх, благодетель! всего-то ему, отцу нашему, воснадцатый годочек! Молодой человек, что плод зеленый, не знаешь – будет ли кисел, будет ли сладок».

– Яблоко от яблони недалеко падает. Он весь в дедушку, восьмой год уже княжит и жениться собрался.

«Да в какого дедушку, благодетель? – Если в матушкина родителя, так прок будет, а если в отцовского родителя, так – Бог знает!»

– Не греси, приятель! Жаль пожаловаться, чтобы покойный князь Димитрий Иоаннович был не лих на бою, либо негодящ в мире.

⁴² *Балчуг* – район Москвы, расположенный по другую сторону р. Москвы напротив Кремля.

⁴³ ...не погреси против девятой заповеди... – т. е. не лжесвидетельствуй.

⁴⁴ *Василий Ярославич* (ум. 1483) – князь Серпуховской и Боровский; его сестра Мария Ярославна стала женою Василия II.

«Оно так, кормилец, – да впрок-то его лихость как-то не шла! Били, били мы татар поганых, а все ладу не было. Домостроительство, родимый, больше чести князю приносит, видно, нежели победище большое. Вот, другой дедушка нашего князя, Витовт Кестутьевич – прости Господи – бусурман не бусурман был, а нехристь какая-то, Господь его ведает, – и били его, да все у него оканчивалось ладно».

– Неужели ты литовца променяешь на своего князя? – спросил толстяк.

Хозяин остановился, как будто испугавшись, не наговорил ли он чего-нибудь лишнего.

«То-то, отец милостивый, и не приходится нашему брату, мужику простоволосому, толковать с вами, боярскими людьми, да знатными господами. Проврешься, сболтнешь какую-нибудь словесную беду... Да ведь мы, отец мой, сдуру говорим, что слышим – наносные речи – на большой дороге живешь. – Ну! перебивает народу тма тмушая, и всякий скажет что-нибудь... Вам больше ведомо...»

– Полно, полно, хозяин, что ты! Наше дело также темное – *что*, что мы близ бояр-то живем? – Да мы, иной раз, еще меньше вашего знаем.

«Я ведь к тому только говорю, родимый, что время-то ныне стало не прежнее – плохое; и земля-то, кажется, не столь плодуща, как порасскажут, в старые годы, бывало; и народ-то стал щедушнее... Как наши-то старики живали – слушаешь, заслушаешься...».

– Да, частенько их на смычках, как собак, водили в Орду, а теперь, запомнишь ли ты, чтобы в деревне вашей татары были?

«Оно так – да ведь зато деньга-то была тогда наживнее! А не все ли равно: из поганых ли шла она рук, аль христианских? Господь создал серебро пречудно, что к нему поганое не пристаёт – перекрести, да дунь три раза, вот и чисто по-прежнему, у кого бы ты его ни взял».

Толстяк засмеялся и старик, незнакомец, улыбнулся. Ободренный хозяин снова заговорил с прежнею словоохотливостью. «А знаменья-то, отец родимый, ведь уж они даром не бывают. Сказывал мне один приезжий – ведь этакое, подумаешь, диво проявит Господь! Видишь: над самым Звенигородом, будто по три ночи звонило в небесах – Бог весть что, и как! Слышат, чуют все – звонит – а ничего нет! Многие со страсти и от мира отреклись...»

– Да по городу и чудо. Где же и звонить, если не в звонком городе?

«А может статься, что знаменует, что на земле и не будут уже перезванивать в православных церквах? Послушаешь – иное место, волосы дыбом... Ведь и преосвященнейший...»

Хозяин опять остановился.

– Ну, что ж преосвященнейший?

«Упокой, Господи, душу его, – он был святой человек, угодник Божий! Сказывают, за год до его кончины, было у него явление, ночью. Стукнули в дверь келии, святитель проснулся, и с полуночной стороны вошел к нему юноша, красоты несказанной, облит лучами светлыми. „Писано, – сказал святитель, – не входяй дверьми тать есть, а ты кто, удививший меня и не в двери пришедший?“ – И тогда юноша отвечал ему: „Посланник Божий я; блюди седмицу седьмую над христианами!“ И ровно через год и через три месяца, и через двадцать дней – святитель отдал душу Богу, и мы без пастыря, и вот теперь уже третий год пошел, а Бог весть – князь есть, а митрополита нет. „Без владыки духовного словно лицо без одного ока“, – говорил мне недавно старичок – у нас он живет в палатке, так, знаешь, подле церкви Божией... О, о, хо, хо!»

Хозяин перекрестился, а на его вздох отвечала хозяйка, также тяжелым вздохом, и перекрестилась.

«Я ведь к тому речь-то веду, кормилец, что вот без эдакой головы, какова голова великого боярина Иоанна Димитриевича, плохо, плохо матушке Москве...»

Незнакомец и толстяк молчали. В это время слез с печи дедушка Матвей и отправился к жбану, стоявшему на столе.

«Видно ты, хозяин, знал этого боярина хорошо?» – спросил дедушка Матвей.

– Кто ж его не знал, первого мудреца в совете покойного князя Василия Дмитриевича, – отвечал хозяин. – Тут не к лести слово сказать, а душа говорит!

«Да что же, разве о нем что-нибудь слышно некошное?»

– Да ты сам, старинушка, ярославец, человек, стало быть, видишь, умный и бывалый – так чего же спрашивать.

«Ну, что, говорят, хотелось ему дочку-то свою за вашего князя выдать, да не удалось? Видишь, она будто, говорят, косая: так молодой ваш князь ни за что не хотел – и руками и ногами!»

Выразительное движение незнакомого старика, громкий кашель толстяка и поспешное старание хозяина перебить речь, изумили дедушку Матвея. Как умный старик, он посмотрел внимательно кругом и, будто ничего не замечая, принялся за ковш с квасом.

– О, о! как же я заболтался, – воскликнул хозяин, как будто боясь возобновления речи дедушки Матвея, – уж и петухи запели! Пора бы доброму молодцу и уснуть.

«Пора, пора, товарищ! – вскричал толстяк. – А нам пора ехать». Он вскочил поспешно, велел хозяину посветить и ушел из избы. Дедушка Матвей опять залез на печь, а старик, безмолвный и угрюмый по-прежнему, яркими глазами поглядел на него и стал подпоясываться. Толстяк вскоре воротился.

«Ну, что?» – сказал ему старик, по-татарски.

– Тотчас будет готово.

«Поедем же».

Они стали прибирать вещи и платье. Тщательно и бережливо завернул и отдал ящичек свой толстяку старик.

«Нет дурака, от которого чему-нибудь нельзя было научиться. Твой разговор с болтуном хозяином удивил меня. Какой черт сказывает им всякую всячину, все перевирает и заставляет говорить то, чего они вовсе не знают и не понимают!»

– Язык на что-нибудь у них да создан.

«Просить милостыню! – с презрением отвечал старик. – Не догадаются наложить подать на русские языки – казна княжеская обогатилась бы тогда. Люблю татар: слова не добьешься у них, а на деле не хуже русского! – Не забыть бы чего?»

Он посмотрел кругом и вышел, надвинув шапку на голову. За ним последовал толстяк.

«Ох, ты, бусурман окаянный! – заворчал дедушка Матвей, глядя с печи вслед им. – Татарин лучше русского! И шапку в светлице надел, и пошел не перекрестился! Ну, хорош!»

Глава III

Мчат, как будто на крылах.

Санки кони рьяны!..⁴⁵

Жуковский

Говорят, что после первого, крепкого сна, или *первосонка*, нелегко уснуть, когда пробудишься нечаянно. По этому ли общему закону сна, или потому, что вид и слова неизвестного старика и его товарища сделали неприятное впечатление на душу дедушки Матвея, он лег на печку по-прежнему, но не мог по-прежнему уснуть. Зевая, кряхтя, перевернулся он на другой бок. Глубокое молчание в избе, слабо освещаемой жирником, прерывалось только храпением его товарищей, хозяйки, детей, животных и чириканьем сверчка под печкою.

«Нет, – подумал дедушка Матвей, – старость не радость, не красные дни! Вот, бывало прежде, спишь, спишь, проснешься, опять уснешь и – горя мало! А ныне – полезет тебе в голову всякая дурь – не спится, а думается. И будто то не так, и это не этак, и на людей-то смотришь иначе... Только этот старик, куда мне не понравился! Что он не купец – разгадать не трудно. – Ну, да, Бог с ним, кто бы он ни был. – Чужая душа потемки... Всякому своя дорога...» Дедушка Матвей перекрестился, прошептав вполголоса: «Господь помощник мой, и не убоюсь зла: что сотворит мне человек?»

Он уже засыпал, как вдруг говор на дворе и скрип отворяющихся ворот снова рассеяли его сон. «Это, видно, купцы наши поехали», – сказал он, слушая шипенье полозьев по снегу и звон колокольчиков на дуге. Вдруг опять все замолкло. Потом раздались голоса, понукающие лошадей; слышно было, как борзые, застоявшиеся лошади храпят и фыркают; все заглушалось услужливым понуканьем хозяина и русскими поговорками, сохранившимися в словесных преданиях до наших времен.

В то же время звон множества колокольчиков, шум от полозьев нескольких саней, летящих быстро по улице, поразил слух дедушки Матвея. Казалось, что отчаянные удалыцы скачут по деревне во весь опор; несколько голосов заливалось в веселых песнях. Сделавшись внимательнее, дедушка Матвей расслушал, что сани неизвестного старика в то же время быстро двинулись из ворот на улицу – ехавшие по улице вдруг остановились – и на улице раздались проклятия, ругательства, удары нагайками.

И всегда, слыша какую-нибудь свалку и шум, русский не утерпит. В то время, когда случилось все нами рассказываемое, можно было и кроме того бояться всякой неприятности от начальства. Слыша, что шум на улице усиливается, дедушка Матвей вскочил поспешно, начал толкать своих товарищей, говоря: «Эй! ребята! вставайте, скорее, скорее!» – «Что там?» – спрашивали они полусонными голосами. – «Да, Бог весь – шум, чуть ли не драка – к возам, скорее!..» – «Ну, уж Москва, дорожка проклятая...» – были первые слова Григория.

Пока товарищи зевали, чесали головы руками – обыкновенное дело русского при вставанье, – дедушка Матвей бросился к печи, вытащил свои лапти и начал наскоро обуваться.

Вдруг дверь настежь отворилась. С ужасом, с криком: «Пропала моя головушка!» – вбежал хозяин.

– Что ты, хозяин? Что с тобой сделалось? – спрашивал изумленный дедушка Матвей.

«Пропавшая голова моя! Согрешил я перед Господом. За что на меня такая беда накинута!»

– Да, скажи, Христа ради! что сделалось с тобою? Перекрестись, опомнись.

«Там дерутся – не на живот, а на смерть!»

⁴⁵ Эпиграф – Строки из баллады В. А. Жуковского «Светлана».

- Ну, что ж! Дай Бог правому побить.
«Что ты, старина! Ведь они *его* прибили!»
– Кого?
«Боярина!»
– Какого боярина?
«Что здесь останавливался.»
– Как? Этот старик...
«Ох! он... Да еще хуже вещует сердце...»
– Что, что такое?
«Чуть ли это был не сам боярин Иоанн Димитриевич.»

При сем имени руки дедушки Матвея опустились; платье, которое хотел он надевать, выпало у него из рук; какое-то восклицание остановилось в разинутом рте его, а хозяин усилил горестные свои восклицания.

«*Иоанн Димитриевич!*» – промолвил наконец дедушка Матвей, останавливаясь на каждом слове, как будто желая вразумиться в предмете выражаемыйими словами.

Имя человека, сильного и знатного, производит волшебное действие и не на простолюдина. Является что-то невольно приводящее в трепет, когда человек незначительный видит перед собою могущего, знаменитого человека. Каково же могло быть чувство страха на доброго дедушку Матвея, когда услышал он, что старик-незнакомец, с которым, как с ровнею, пришлось ему ночевать под одною кровлей, был страшный, свирепый вельможа московского князя, пред которым недавно преклонялись с покорностью удельные князья, друг татарских ханов, человек, о странной судьбе которого носились повсюду рассказы, который с угрозами своему князю уехал, как слышно было, из Москвы, когда Великий князь отказался от руки его дочери, который и в отсутствии все еще страшил Москву своею силою! Быть с ним, замешаться в несчастное смятение, если, в самом деле, этого вельможу осмелился кто-нибудь обидеть – это могло погубить и небедных, незначительных людей! Дедушка Матвей вспомнил, что даже дерзкое что-то сказал он о боярине Иоанне Димитриевиче, вспомнил общее замешательство при сем случае... Холодный пот прошиб его!.. Но боярин Иоанн Димитриевич – на дороге, в виде купца, с каким-то одним человеком и с извозчиком, скрывая свой сан, находится на бедном ночлеге, с крестьянами, в крестьянской избе? Все это казалось дедушке Матвею вовсе непонятным.

- Хозяин! ты не рехнулся ли со страха? – спросил он хозяина.

«Да, уж Бог знает – я и сам не знаю...»

- Почему ты думаешь, что это был боярин Иоанн Димитриевич? Разве ты его знаешь?

«Нет! Да товарищ-то его мне известен: это ближний человек его и управитель поместьев московских»,

- С кем же и как их Бог снес?

«Да, уж так все на беду! Они сели себе спокойно в сани; управитель-то еще сунул мне серебрянку и молвил, чтобы я не болтал о том, что они здесь были; я ему поклон, чуть не в землю – а вдруг лошади-то и шарахнулись! Упарились, да после, знаешь, продрогли, застоялись – ведь словно звери – так и храпят!»

– Да, уж и я полюбовался на лошадок! Куда добры! «Вот, знаешь, начали мы понукать, кричать – бьют, храпят – а тут, прости Господи, словно бес подсунул! Как нарочно, по улице летят сани, другие, третьи – и Бог знает сколько – будто, не здесь будь помянуто, – нечистая сила... Крик, звон, шум! Вот, как вихорь, лошади вдруг рванулись в ворота; те не успели проехать, не сдержали – эти тоже, и сшиблись, перепутались... и пошла потеха!»

- Уж будто и драка?

«Я и ждатель-то не стал. Из саней выскочили двое и подбежали к нашему старику, с кулаками, а управитель им навстречу – ты сам его видел – мужчина – трех ему мало на одну руку –

как даст по разу, так они и с ног долой! К ним прибежали на помощь другие... Кроме управителя, извозчик, да еще один, что на облучке сидит – на них – тут уж я и давай Бог ноги! Ведь беда, да и только – пропадешь ни за что. – Вот спал, да выпал...»

Он сжал руки и бросился на лавку. Между тем товарищи дедушки Матвея стояли в стороне, не понимая, что все это значит; но, видя испуг хозяина и замешательство дедушки Матвея, они предчувствовали что-то недоброе. Так овцы прижимаются одна к другой, не понимая опасности, но чувствуя ее.

– Ребята! за мной! – вскричал дедушка Матвей, решительно махнув рукою; он надел наскоро тулуп свой и поспешно пошел из избы.

Метель перестала; снеговые облака облегли горизонт; темнота была ужасная, и на двор всюду намело сугробы снега. Сквозь отворенные ворота дедушка Матвей увидел блеск от огней и толпу народа на улице.

Выбежав за ворота, он разглядел – что у страха глаза велики, и что хозяин, с испуга, увеличил опасность неизвестного старика – купец ли это был, как сказал он сам дедушке Матвею, или боярин Иоанн Димитриевич, как подозревал хозяин.

Драки вовсе не было. При свете от зажженных пуков лучины, которые вынесли выбежавшие из ближних дворов люди, услышав смятение и шум на улице, дедушка Матвей увидел старика. Он бодро стоял подле своих саней и с бранью приказывал скорее распутывать набежавших одна на другую лошадей. Сани его столкнулись со средними санями, из трех, ехавших мимо. У проезжих были тоже лошади сильные и бодрые. Из двух передних саней выскочило несколько человек, одетых в дорогие шубы; задние сани были закрыты огромною медвежьего полстью; видно было, что лежавшие там люди спокойно спали.

Вместо того, чтобы с обеих сторон постараться скорее распутать лошадей, которые бились и храпели, проезжие и старик, с рыжим своим товарищем, в запальчивости кричали друг на друга, беспрестанно угрожая переменить брань на жестокую драку.

– Отъезжай прочь, в сторону, отвяжи лошадь, а не то исколочу пуще Божьего суда! – кричал старик.

«Убирайтесь вы к бесу! Скорее распутывай, отводи!» – кричал рыжий толстяк.

– Да, как ты смел драться, проклятый ты человек? – кричали ему трое, наступая на него. – Ведь ты зуб было ему вышиб!

«Я всем вам их пересчитаю!» – гремел толстяк, не страшась трех противников.

– Да знаешь ли ты, с кем ты говоришь, рыжий пес? – закричал один из проезжих.

«Ты знаешь ли с кем? – отвечал толстяк. – Прочь! дух выбью!»

– Ты смеешь...

«Ты осмелился мне сказать...»

– Я тебе доеду!

«Я до тебя доберусь скорее!»

И вдруг противники быстро устремились на старика и на толстяка. Забывая свою опасность, толстяк бросился к старику, заслонил его и отшиб сильною рукою кулак, на него летевший.

«Наших! Как? наших!» – закричали противники, бросаясь все вдруг. Их собралось уже человек семь, против трех провожатых старика, и от сильного удара одного из них извозчик слетел с ног. На помощь слабым, видя притом смелость толстяка, бросились дедушка Матвей с товарищами, желая разнять драку.

Увидев новую помощь неприятелю, один из проезжих кинулся к задним саням. «Князь Василий Юрьевич, князь Дмитрий Юрьевич! Вставай, отец! смилуйся! Твоих людей обижают!»

Полсть полетела; двое седоков поднялись вприсонках и не выходя из саней один из них закричал громким голосом: «Кто там? Что там за разбойники?»

Дедушка Матвей изумился действию сих слов на старика. С досадою, с негодованием воскликнул он: «Стой, стой! Полно драться, окаянный! Распутывай скорее – провались они ставши...» – Он хотел бежать в ворота постоянного двора, где останавливался.

Это возвратило бодрость противникам. Один из них ухватил старика за ворот, крича: «Нет, не увернешься!» – Толстяк хотел вывернуть его – старик грозно закричал на него: «Стой! Слышишь – то Юрьевичи!» Толстяк смирился, начал уговаривать, останавливать всех: «Полно, полно, товарищи! Что вы, что вы! Да за что драться?»

– А! теперь *товарищи, что вы...* – кричали противники. – Нет, рыжий разбойник, не разделаешься! Постой-ка, мы тебя...

В это время седок из задних саней успел уже выскочить и прибежать к старику, крича: «Кто тут буянит? Кто осмелился?»

Это был высокого роста, средних лет человек, в богатой шубе, подпоясанной персидским кушаком, и в дорогой шапке. Черная борода его, свирепые глаза, хриповатый голос могли испугать всякого, кто и не знал бы, что это князь Василий Косой, так названный от косых глаз его, старший сын Юрия Дмитриевича, князя галицкого и звенигородского, двоюродный брат московского Великого князя, муж сильный, буйный, гордый и бесстрашный.

Все остановились перед ним, почтительно снимая шапки свои. Только старик надвинул свою шапку глубже на глаза и глухо промолвил: «Я не буяню; твои люди меня обижают...»

– Нет, князь Василий Юрьевич, не мы, а они на нас наскочили! Мы смирно себе ехали, как вдруг нелегкая вынесла этих разбойников, вот из этих ворот, прямо на нас – чуть было не убили. Мы стали им порядком говорить, а они драться кинулись – вот этот рыжак; да и старичишка-то все поджигал...

«В плети их! Руби у них построжки!» – закричал князь Василий.

– Князь! остановись! – сказал старик, задыхаясь от гнева, – будешь жалеть!

«Что ж вы стали? Принимайся!» – воскликнул Косой, не слушая речей старика.

– Князь! побереги себя и меня. Разве ты меня не узнаешь?

При сих словах князь Василий остановился и, смотря на старика пристально, сказал вполголоса: «Как? это *ты...*»

– Я, я, – отвечал старик, перебивая речь его, и как будто не хотя, чтобы назвали его по имени.

Князь Василий махнул рукою своим людям. «Перестать! – крикнул он строгим голосом. – Вы все в щеть лезете. Я вас знаю, буяны! Разведи лошадей!»

Все умолкли и ворча принялись распутывать и разводить лошадей.

«Мне хотелось бы, – сказал князь старику, – знать... Как бишь твое имя?»

– Я московский купчина, Иван Лукинич, и готов служить тебе, князь Василий Юрьевич, добрым словом и благим делом. – Голос его еще дрожал от досады.

«Да, да, Иван Лукинич, старый знакомый...» Между тем, как все окружающие удивлялись изменению обстоятельств и перемене разговора, не понимая, чем умел простой купец так мгновенно успокоить, укротить гордого князя Василия, приблизился и другой седок княжеских саней. Он подходил, совсем не сердясь, не бранясь, и шутливо вскричал князю Василию: «Ты заморозил меня, как свежую рыбу... Что у вас за разговоры? Брань или мир!»

– Брат! – сказал ему князь Василий Косой, – узнал ли ты старого знакомого, московского купца Ивана Лукинича, Лукинича что ли? Поздоровайся с ним и поприветствуй его!

«Кажется, он хорошо приветил наших передовых», – сказал товарищ князя Василия.

– Грех да беда на кого не живет, князь! – отвечал старик, не снимая своей шапки.

«Как? что? – вскричал с удивлением товарищ князя Василия. – Во сне или наяву московский дух воочью появляется – недуманно, негаданно! – Так ты ныне начал торговать, Иван... как бишь... Прежде звали тебя Иваном, да прозвище-то было у тебя не то. – Он громко захохотал... – Старый знакомый... Ха! ха! ха!»

Косой с досадою сказал тогда своему товарищу: «Ты сам не знаешь, что говоришь, – и громко закричал, замахнувшись на окружающую их толпу любопытных зрителей. – Что вы рты разинули тут, голодные галки? Убирайтесь за добра ума! Эй! гоните прочь этих болванов!»

Как дождь, рассыпались при сих словах все собравшиеся вокруг зрители и кинулись во все стороны. Одни спешили бежать в дома свои; другие спрятались за заборами, за грудками снега. Князь Василий, товарищ его и старик сошлись вместе. Заметно было, что старик и князь Василий с жаром начали что-то говорить; товарищ князя смеялся и наконец громко сказал: «Пойдемте хоть в эту избушку на курьих ножках; что за толки на морозе...» Они пошли в постоялый дом, где останавливался старик. «Эй! князь Роман! закрой хорошенько наши сани, – закричал Косой. – Да посветите, провалитесь вы – кто здесь – тут домовую голову сломит...»

Поспешно вынесли из избы пук горящей лучины и прогнали всех, кто там был. Князь Василий, товарищ его и старик пошли туда. Любопытный народ начал выглядывать из всех ворот на улицу, где провозжаты старика и князя Василия, спокойно и без ссоры, распутывали лошадей и выправляли сани.

«Дедушка Матвей, дедушка Матвей! где ты?» – тихо спрашивал один из его товарищей, заглядывая под сарай.

– Здесь, – отвечал дедушка Матвей, расправляя оглобли и готовясь запрягать.

«Да неужели ты уж собираешься ехать?»

– Чего ж мешкать? Бог с ними!

«Ты еще спозаранки убрался, а уж что мы видели...»

– Да как увидел я, что старик-то столкнулся с князьями, так и Господь с ними! Близ князя, близ смерти...

«А сам же ты бросился разнимать?»

– Коли видел, что на одного пятеро, так, как же иначе? – а коли эти князья, да бояре, так нашему брату – унеси Господи из посконного ряда без отрепьев! Пусть дерутся, пусть и разделяются сами.

«Какой же это князь-то, дедушка Матвей?»

– Будто не слыхал? Князь Василий Юрьевич Звенигородский с братом.

«С каким братом? Ведь их, говорят, трое у старого князя Юрия?»

– И вестимо, что трое: два *Димитрия*, да один Василий. Вот Василия-то называют *Косой*, одного *Димитрия* – *Шемяка*, другого – *Красный*.

«Ох, дедушка Матвей! не видал ты страсти! Как закричит на нас этот князь – ну вот так душа в пятки и ушла... И теперь руки не поднимаются – невесть что подеялось, как обморочили будто, – народ-то православный кто куда... А уж этот-то старик, что с нами-то ночевал – словно деревянный – меня вчуже за него морозом подрало по коже, а он стоит себе, глазом не смигнет».

– Полно калякать; запрягай-ка поскорее...

«Да где наши-то ребята, Бог весть...»

– Поищи их, а я пойду, разочтусь с хозяином, да оденусь; ведь я думал было, что добрых людей бьют, да выскочил нараспашку...

«А разве тут не добрые люди?»

– Полно, говорят тебе, не твое дело! Ты парень молодой, твоя стать слушать да молчать, молчать да слушать!

Дедушка Матвей пошел к дверям избы, оставя товарища под навесом; в раздумье ходил этот бедняк с места на место и не знал, за что надобно приняться. У дверей избы стоял рыжий толстяк, и едва дедушка Матвей хотел переступить через порог, толстяк тихо и угрюмо сказал ему: «Прочь! куда лезешь?»

– В избу, родимый, – отвечал дедушка Матвей униженным голосом, как говорят обыкновенно русские мужики, когда кто-нибудь пугнет их порядком.

«Нельзя! Пошел прочь!»

– Мне только взять шапчонку, да опояску, родимый!

«Успеешь после. Ну, что стал!»

Смиренно завернув полы своей шубы, дедушка Матвей пошел к воротам двора, подле которых стояли сани старика и трое саней княжеских. Извозчики и провожатые похаживали кругом саней и, забыв прежнюю ссору, мирно и весело разговаривали о лошадях, о дороге. Так всегда у нас: когда правда высказана кулаком – мир не за горами, а за плечами. Спутники князей улеглись в свои сани и закутались в теплые полсти и одеяла.

Скоро подошли к дедушке Матвею его товарищи, говоря, что лошади готовы.

«Ладно».

– Что же? Поедем, дедушка Матвей.

«Погоди! – Не так живи, как хочется, а как Бог велит», – проворчал он вдобавок.

– А разве опять...

«Погоди, говорят тебе!»

– Никогда не видал я его такого сердитого, – сказал один молодой парень другому.

«А когда дедушка Матвей сердит, так нам белугой выть приходится», – примолвил сухощавый Гриша.

Но что между тем делалось в избе, куда вошли князя и неизвестный старик и не велели никого впускать? Свидетелей после этого не могло быть, но мы узнали однако ж, ибо в жару беседы ни князя, ни старик не заметили, что хозяин, со страху спрятавшись за печку, слышал, наблюдал все и потом пересказал кому-то, тот другому, этот третьему. Нам досталось, конечно, из сотых рук. Послушаем. Не в первый раз люди услышат рассказ о важных делах по заметкам невежды, который делал их – сидя от страха за печкою.

Глава IV

*И он, стряся прах с ноги,
Поклялся местию до гроба:
«Иль он, иль я, иль пусть мы оба
Погибнем – лишь погибни он!..»*

* * *

Быстро, скорым шагом вошел в избу князь Василий Косой и остановился подле стола; старик следовал за ним, снял шапку у входа и низко поклонился Косому, когда тот дал знак удалиться одному из людей своих, светившему им; князь Димитрий Шемяка вошел тихо, весело, снял при входе шапку, перекрестился на иконы, сел на лавку подле стола и, смеясь, смотрел на брата и старика. Свет жирника падал на его русское, цветущее лицо, выражавшее ум и какую-то беспечность, столь общую русским в молодых летах, когда ни одна страсть сильная не кипит в душе и не выражается на лице; кудри русых волос его и небольшая борода обрисовывали щеки румяные, придавая вид мужества молодому князю. Откинув верхнюю одежду, он открыл богатый терлик свой, с золотыми шнурками и пуговками, держа в руке дорогую соболью шапку. Щегольство видно было во всей его одежде.

– Не знаю, – сказал Косой, – не порадоваться ли мне этому несчастному случаю, когда он дал нам средство увидеть тебя, боярин Иоанн Димитриевич?

«И я тоже думаю, князь Василий Юрьевич. Почему же: *несчастный случай?* В своей семье горшок с горшком столкнется. Признаюсь тебе, князь, – нечего сказать, а я рад, когда мог видеть именно тебя...»

– Я желал бы прежде всего знать: давно ли мы стали называться *своей семьей*, боярин? – сказал Шемяка, улыбаясь. – Мы прежде были горшки не из одной глины.

«Кажется, – отвечал боярин, в недоумении смотря на Шемяку, – кажется, мне не нужно объяснять всего, что было в последнее время, и все это, князь, должно быть тебе известно?»

– Мне известно? Менее нежели кому-нибудь другому. Не люблю я вмешиваться не в свои дела; мне довольно забот с соколами и медведями: одних надобно вынашивать, других бить, а девичьи глаза, разве чего-нибудь не значат? Да это страшнее всякого медведя молодецкому сердцу.

Косой посмотрел с неудовольствием на брата и, как будто не обращая внимания на слова его, начал говорить боярину: «Я полагал, боярин, что ты в Твери, и никогда бы не думал здесь с тобою встретиться».

– Что тебе за надобность, куда едет и где живет боярин Иоанн Димитриевич? – возразил Шемяка, насмешливо улыбаясь. – Если тебе есть охота мешаться в чужие дела, то можешь спросить боярина, как бывает это невыгодно.

«Князь!» – вскричал боярин.

– О, боярин! это говорю не я, а вся Русь православная, не говорит, кричит, что боярин Иоанн Димитриевич не щадил ни забот, ни трудов, вмешиваясь в дела между дядею и племянником, хлопотал, трудился, чуть лба не пробил, кланяясь ханским прислужникам, а потом на себе узнал пословицу, что когда свои собаки грызутся, чужая не вступайся.

«Ты забываешь, брат, – вскричал Косой, – правило предка нашего: *делу время, а потехе час*. Твоя потеха совсем не ко времени».

– Вот? А я думал, что все мы давно забыли правила старых отцов наших, переросли их умом и почитаем речи их заржавелым мечом, который годится крошить крошку на беседах, а более никуда.

«Ты выводил меня из терпения!»

– Я? Чудо чудное! А я помню, как выходил ты из терпения, слыша, что по милости боярина Иоанна Димитриевича навсегда лишаешься одного словца при имени князя. Словцо неважное: *Великий*... Удержи гнев твой. Я помню еще, как гневался ты, слыша, что по уменью боярина Иоанна Димитриевича – дядя вел лошадь своего племянника перед татарским ханом, старик дядя бил челом безбородому отроку и клялся ему, как старшему и старейшему, в верности и подданстве!

«Если ты шутишь, то забава твоя, повторяю, никуда не годится; если же твои речи идут от сердца – не стыди себя: ты не младенец!»

– Боже мой, Создатель! – воскликнул Шемяка, – неужели только тем отличаем мы младенца от взрослого, что младенец не желает никому зла и бежит от злой беседы, плящей обычай благие, а взрослый сам накупается на злую беседу и на гибель души своей!

«Если не нравится тебе наша беседа, ты можешь удалиться».

– Благодарен; только ты забыл, что мне спрятаться некуда: ведь мы не в княжеском тереме, где столько перегородок и углов, что находят себе место укрыться и злоба, и ненависть, и измена. Здесь тесно и все наружи; что в ухо одному шепчут, то в ухо другого отзывается, будто звонкая русская пощечина. Я залег бы в наши сани, да ведь беседа ваша может так продолжиться, что я успею без покаяния отправиться на тот свет от лихого теперешнего мороза.

С досадою сел на лавку Косой и молчал. Старик злобно улыбнулся и, низко кланяясь, сказал ему. «Нечего делать, князь Василий Юрьевич! Прощай! Видно мне приходится морозить свои мысли и добрые речи в душе до приезда к твоему родителю! Я не знал, что тебя до сих пор водят на помочах меньшие братья...»

– И хорошо сделаешь, боярин, – с жаром воскликнул Шемяка, – если совсем заморозишь свои добрые мысли и речи, а не дашь семенам зла пустить корни в почву русской чести и семейного благоденствия князей!

«О! я умею возвращать их на гибель того, кто оскорбил меня хоть однажды в жизни... Не тем, так другим... Мономаховы потомки не все еще отказались от доблести и княжеской чести. Найдутся!» – Скрывая гнев свой, боярин промолвил ласково: «Добрый путь вам, князь!» – Он хотел идти.

– Нет! мы должны объясниться с тобою, – вскричал Косой. – Воле Божией угодно было указать тебе путь и нас направить по этому пути. Князь Димитрий! волею старшего брата я запрещаю тебе оскорблять почтенного боярина, или – клянусь тебе всем, что есть для меня на земле святого!.. ты дорого мне заплатишь за каждое свое безрассудное слово! Ты понимаешь меня?

«Понимаю! – печально сказал Шемяка, уклонив взор свой от горящих очей брата. – Но знай, князь Василий, когда напомнил ты о старшинстве, что не такой образец должен подавать старший младшему брату, какой подаешь ты! Я говорил тебе, как говорила бы тебе совесть, берегись теперь: совесть и я – мы отступаемся от тебя. Ты еще чист душою – отступись от этого старика, оскорбителя князей: на языке у него мед, под языком лед! Не хочешь? Гордость увлекает тебя? Знай же, что я умываю руки от твоих замыслов; имейте меня отреченна!»

– Пилаты Понтийские! – тихо проворчал старик, – ты говоришь сладко, пока не лизнул человеческой крови: тогда, как у дикого зверя, жажда честолюбия делается у тебя ненасытима – жажда кровавая!

Шемяка облокотился обеими руками на стол и опустил свою голову на руки, закрывая лицо. С минуту молчал Косой; внутреннее движение выражалось в чертах лица его. Наконец,

глухим, прерывающимся голосом спросил он: «Скажи ж мне, боярин, где ты скрывался до сих пор?»

– Там, где скрывается изгнанник: под кровом всего Божьего неба, когда земной владыка налагает на него гнев свой!

«Но ведь ты не был изгнан и лишен почестей?»

– Как! неужели мне надобно было дожидаться такого позора и унижения? Князь Василий Юрьевич! дочь мою оттолкнули от святого наоя, где рука ее готова была соединиться с рукою Великого князя; гордая литвянка⁴⁶, мною спасенная, и этот восковой князик, которому я сохранил венец и престол московский, выгнали жену мою из дворца княжеского, когда она, твердая обетом и словом княжеским, привела было невесту к жениху! И мне было терпеть это посрамление, мне, опоре княжества Московского, сорок лет бывшего душою советов? О! лучше смертный час пошли мне, Господи, нежели видеть еще раз на старости лет моих, как молокососы – Басенки и Ряполовские хохотали вслед мне, как литвянка едва не прибила меня за мое смелое объяснение с нею и с ее младенцем-князем!

«Но, боярин, ты мог ожидать...»

– Но, князь, чего ж мне было ожидать еще? Разве шея у меня алмазная, так, что секира палача не перерубит ее? Разве кожа моя такая броня, что засапожник убийцы не проколет ее, или отравы смертной не источит из нее каплями остатка крови, уцелевшего в битвах, где не жалел я живота за неблагодарный род твоего дяди? Учиться ли Софье Витовтовне губить верных княжеских людей, когда они не надобны более для ее услуг? Разве батюшка ее, Витовт Кестутьевич, не давал ей примера, а Кучково поле⁴⁷ клином сошлось, так, что для плахи на мою голову и места не будет на этом поле?

Он остановился, задыхаясь от бешенства. «Видишь ли теперь, боярин! – сказал улыбаясь Косой, – видишь ли, какова тяжка была обида законному твоему государю, когда ты в несколько часов разорвал цепи, которые сорок лет ковало твое усердие и верность? Ты *не князь* еще, ты не можешь понимать, каково тому, с чьей головы срывают законный его венец!»

Боярин тихо поднял глаза к образу, будто чувствуя раскаяние. «Как человек оскорблен я и готов бы простить *мое* оскорбление – только не этой литвянке, а сыну моего покойного князя Василия Дмитриевича! Но дотоле на душе моей будет лежать грех, как камень, доколе не исправлю я вины и греха перед твоим родителем. Князь Василий Юрьевич! Я, окаянный, я лишил его венца и престола великокняжеского... (с невольною гордостью оглянулся кругом боярин). Я нарушил мою хитростию права законного наследия и, если Господь мне поможет, исправлю все по-прежнему: не видать великого княжества Василию Васильевичу, доколе жив буду я! Родитель твой собирал войска, но не ими поборет он племянника. Силою ничего нельзя было сделать против московского князя; но теперь, без меня, доски его княжеского терема без матицы: от сильного толчка полетят они все вниз и задавят князика московского, беспечно пирующего за свадебным столом, со своими гостями и с литвянкою, матерью его...»

Движение нетерпеливости изъясил Шемяка при сих словах, но удержался. Не замечая сего, продолжал боярин, понизив голос: «А потом, я дал обещание сходить пешком ко гробу Господню; там облечь себя в ангельский чин; возвратясь в Русь, выстроить обитель иноков и в ней оплакивать грехи свои весь остаток дней, если только Господь умиласердится надо мною! Откажусь от мира, тщетного и суетного, где нет правды в устах человека и памяти о добре в его сердце».

– Нет, боярин, есть еще правда в душе человека, и по воле Господней возвращается она в душу его, – сказал Косой. – Бог ведет тебя на дело закона и блага. Но если ты узнал теперь настоящий путь истины и правды, верь, что этот путь должен довести тебя не в келью отшельника, но

⁴⁶ ...гордая литвянка – Софья Витовтовна (ум. 1453) – жена (с 1391 г.) Василия I Дмитриевича.

⁴⁷ Кучково поле – место в Москве (недалеко от совр. Сретенских ворот), где проходили кулачные бои и совершались казни.

к почестям и славе, или – не будь я сын отца моего! Знатен был ты при дяде Василии Димитриевиче, знатен при сыне его Василии, но еще славнее явишься при Великом князе Юрии Димитриевиче... и... при наследнике его... – примолвил Косой, останавливаясь с невольным замешательством. – Поверь моему слову. Итак; ты едешь к отцу моему?

«К нему несудя я повинную свою голову и – посильную помощь. Думаю, что старость не совсем еще охолодила кровь его, что в один год он не разучился стоять за свое законное право, как стоял прежде. Я передам ему все, что у меня в руках, а что у меня есть, то стоит большой рати!» – Он замолчал и положил шапку свою на стол.

– Что же ты остановился, боярин? – сказал Косой, вставая от нетерпения и быстро подходя к нему. – Скажи, скажи скорее, – говорил он, взяв старика за руку.

«Старые ноги мои устали, – отвечал боярин. – Прости меня, князь Василий Юрьевич!»

– Садись, садись, сделай милость, – вскричал Косой, усаживая боярина на лавку и сам придвигаясь к нему. Шемяка молча поднялся, сложил руки на груди и тихо начал ходить по избе. Косой как будто забыл о нем, увлеченный речами старика.

«Князь Василий Юрьевич! Прости моей старости, – сказал боярин, после некоторого молчания, – она недоверчива. Наша беседа походит не на беседу двух друзей, но на допрос преступника или на свидание двух неприятелей, из которых каждый прячет что-то за пазуху, а Бог знает, что такое прячет? Горсть золотых денег или увесистый камень – известно одному сердцеведу! Брат твой юн и много наговорил такого, чего совсем не было надобности говорить, а ты не сказываешь и того, что мне непременно знать надобно, чтобы и со своей стороны показаться тебе в одной рубашке, а не накутанной одеждою хитрости и притворства».

– Неужели ты можешь сомневаться?

«Могу, потому, что худо понимаю твои дела. Я испугался было – нет, не испугался, но не порадовался было твоей встрече. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь видел меня на этой дороге, пока я не увижу ясных очей своего прежнего соратника, твоего родителя. Вы князья юные, молодые, кровь у вас красная и не стораает в сердце, а играет на щеках, и как часто девичья русая коса связывала руки молодым князьям, а от бесовского бисера женских слез таяли мечи и щиты их...»

– Боярин! неужели ты меня не знаешь?

«Кто тебя не знает и не хвалит твоей мудрой головы, хоть она еще и не серебряная; но, прости меня: ты едешь в Москву, гостем, а где родитель твой теперь – я вовсе не знаю».

– Гостем! Пришлось гостить, когда нельзя мостить дорогу в Москву мечами да костями! Что выпьем у князя Московского, только то и наше! Но я сниму тебе со стены икону Пресвятой Богоматери, боярин, что не гостьба у меня на уме... Говорят, что Москва зыблется, как дорога по болоту, и мой зоркий глаз не заглядится на золоченые чаши княжеские; об отце моем скажет тебе все вот эта грамота. Боярин! ради Христа, будь со мной откровенен!

Старик взял грамоту, сложенную и обвернутую в шелковую ткань, развернул ее, пробежал глазами и молча отдал опять Косому.

Он казался задумчивым, но радость блеснула в глазах его. Взор старого честолюбца несколько времени услаждался после того беспокойною заботою, видимо терзавшею душу честолюбца молодого. Наконец, когда он насытился сим зрелищем, когда увидел, что глубоко запало в душу князя зерно гибели и раздора, долженствовавшее процветать для него удовлетворением самолюбивых и гордых надежд, то покачал головою и сказал, улыбаясь коварно:

– Не думал однако ж я, князь Василий Юрьевич, чтобы покамест все твои собственно требования ограничивались только требованием на погреб княжеский: мог ли я ожидать, что внук Димитрия Донского не имеет надежды на что-нибудь более славное, более великое?

«Надежды! – вскричал Косой, – что ж было делать другое, боярин, как только ждать времени и острить втайне меч на врага... Отец мой становится стар... Знаешь ли ты, что сделалось теперь в Дмитрове?»

– Слышал.

«Подумай, что в этот родовой город наш присланы московские наместники во время отсутствия отца моего! Не знал я этого, не знал, а то полетели бы они назад в Москву, вверх ногами!»

– И что же из того? *Великий* князь московский приказал бы *удельному* князю звенигородскому и галицкому снова принять их. Вы заспорили бы и к вам послали бы какого-нибудь попа застращать вас, а не то уговорили бы *окупных князьков*⁴⁸ идти на вас войною, и дядя-старик кончил бы челобитьем младенцу – своему племяннику!

«Но уж, по крайней мере, обида не осталась бы без заплаты...»

– Русский обычай! Сколько раз бывали от него беды русской земле? Вот так-то Александр Тверской поколотил дурака Щелкана⁴⁹ – не вытерпело русское сердце, и – принужден был бежать горемыкой, а потом снова кланяться татарам! Так и покойный дедушка твой, как было размахался на татар – но что оказалось следствием? Через год Тохтамыш сжег⁵⁰ у него Москву... Да, нечего и говорить: это-то и губит нас и землю нашу! Князь Василий Юрьевич! ты еще молод, послушай меня, старика: бери пример с твоего прапрадедушки Ивана Даниловича⁵¹: вот был истинный князь! Иногда читаешь его старые хартии и грамоты – какая ловкость, какое умение владеть людьми и обстоятельствами! Дядя твой, покойный князь мой, Василий Дмитриевич, также ничего не делал наудачу. Бывало, слушаешь его, так заслушаешься: он что ни делает, а всегда глядит вперед. Ссорится на мир, а мирится на ссору. Лисий хвост и волчий рот – вот что надобно князю благоразумному... А родитель твой пел и поет совсем не по голосу.

«Боярин Иоанн Дмитриевич! Слушаю тебя, словно мед пью и удивляюсь только одному: как с твоею мудростью не успел ты предупредить врагов твоих?»

– Да что ж они у меня взяли? Кроме того, что и на старуху бывает проруха, с дураками и у каши неспоро, а часто дурак перемудряет самого умного человека. От того это и бывает, что готовишься отразить хитрость, отбиваешь меч, а тебя бьют просто сзади, дубиною! Но я заставлю их опомниться и покажу, что, кто выкалывает у себя глаз, тот после не жалуйся, если на всякий сучок натывается. Князю московскому не избежать сетей, какими я его опутал и еще опутаю, если только на меня положится твой родитель и ты, князь, меня не выдашь...

«Будь уверен, что ты будешь у моего отца дорогим гостем, а я немедленно возвращусь из Москвы».

– Нет надобности, и тебе будет много дела в Москве. Ты знаешь отношения наши с Ордою и с Литвою: и там, и здесь идет такая сумятица, что некогда ни татарам, ни Литве вмешиваться в московские дела. Орда рада еще будет, что Москва станет ластить ее посулами, да послугами. Дела совсем переменяются; но не в том сила. Я оставил Москву, как брагу молодую. И сама по себе она так и бродит, а я подбавлю еще в нее таких дрожжей, что князь Василий и матушка его, как пена, выплывут из великокняжеского чана. Там остались у нас друзья добрые, а со мною все хартии, все грамоты, и есть такие сокровища, что голова затрещит у литвянки...

«Так мы опять можем запеть старую песню о наследствах?»

⁴⁸ *Окупные князья* – так назывались князья, которые за определенную плату (окуп, выкуп) отказались от права распоряжаться своими землями в пользу Московского князя при Иване I Калите (см. комм. к с. 337), признав полную вассальную от него зависимость, сохранив при этом прежнюю власть над людьми и хозяйственной деятельностью на территории своих бывших уделов: князья Белозерские, Ростовские, Ярославские и др.

⁴⁹ ...*Александр Тверской поколотил дурака Щелкана*... – Имеется в виду восстание 16 августа 1327 г. в Твери против татарского баскака (посла – сборщика даней) Чолхана (Шолхана, по летописям – Щелкана), которое возглавил Александр Михайлович (1301—1339) – великий князь Тверской с 1326 г. и Владимирский (1326—1327).

⁵⁰ *Через год Тохтамыш сжег... Москву* – см. комм. к с. 222 и 225.

⁵¹ *Иван Данилович* – Иван Данилович Калита (1304—1340) – князь Московский с 1325 г., великий князь Владимирский с 1328 г.

– Да, потому, что для этой песни именно настало теперь время: Русь от нее не только не отвыкла, но спит и видит ее. Надобно только получше настроить дудку, то под нее все запляшет. Тверь, Ярославль, Рязань, – все слажено...

«Но грамоты последние говорят...»

– Грамоты бумага, князь, неужели ты этого еще не знаешь? И на старые грамоты есть еще старшие грамотки. Если на что пойдет, мы докажем, что и по грамотам Василий владеть не должен: ведь он – *незаконный* сын Василия Димитриевича! – Шемяка невольно остановился, лицо его побледнело.

«Как? – воскликнул Косой. – Ты говоришь...»

– То ли ты еще услышишь... – Тут, приклонившись к Косому, боярин долго шептал ему что-то на ухо. Наконец он встал, взял шапку и сказал громко: «Ну, на сей раз довольно. Добрая вам дорога, счастливый путь, князья! Пируйте весело в Москве, а я – поплетусь, куда глаза глядят... Авось еще увидимся в красный денек!»

– Но ты обещал мне дать знак, боярин? – сказал Косой.

«Забыл было...» – тут он снял с руки своей золотой перстень и отдал Косому.

Холодно поклонился ему Шемяка, ласково проводил его до порога Косой.

Когда старик затворил за собою дверь, Косой похож был на человека, оглушенного сильным ударом. В рассеянии сказал он брату: «Пора и нам в путь», – и начал искать свою шапку, которую, в жару разговора, столкнул со стола.

Тогда Шемяка прервал столь долго хранимое молчание. Лицо его было важно и печально. «Мне хотелось бы, брат, – сказал он, – чтобы прежде шапки своей поискал ты своей совести: ты чуть ли не потерял ее! Брат и друг! Послушай меня...»

– Что? – угрюмо спросил Косой. – Что? Опять шутки? Признаюсь, князь Димитрий, я не мог без гнева слышать, как ты шутил, совсем не вовремя и некстати.

«Я не шучу теперь. Не прячь себя под личину: тебе стыдно посмотреть на меня прямо, твоя душа нечиста, брат, б твою душу запали дьявольские семена и – сохрани, Боже! – какой страшный плод дадут они, если ты не успеешь избавить себя от козней дьявола!»

– Ты дурачишь себя и меня, – сказал Косой. – Что за великая беда, если я поймал старого воробья на мякине и выведал от него кое-что. Все годится при случае.

«Нет! тебе не обмануть меня: я знаю тебя, брат, – вскричал Шемяка, – и готов проклинать час, в который столкнулись мы с этим старым бесом в человеческом образе – прости меня, Господи! В столь короткое время он вложил в душу твою столько адского зелья, что его достанет на всю жизнь твою! В такой малый час злокозненный язык его изрыгнул хулы на предков наших, оклеветал честное супружество дяди Василия Димитриевича, открыл бездну кромешную зла и погибели. Неужели ты хочешь внять его советам?»

– Полно, полно! Говорю тебе, что я обманул его притворным вниманием.

«Ты обманул его? Но разве обман не есть уже грех?»

– Отмолюсь! – смеясь отвечал Косой, отряхнув шапку свою. – Пойдем, пора!

«Брат! умоляю тебя, ради второго, страшного Христова пришествия, забудь, что ты слышал здесь! Да не взойдет солнце над нами, пока злая дума не истребится в душе твоей!»

– Говорю тебе, что все пустяки – поедем!

«Хорошо, брось же этот перстень, который отдал тебе боярин!»

– Вот еще с чем подъехал! Ведь он золотой, лучше сделать из него привеску к образу.

«Брось его! – вскричал Шемяка, ухватив за руку Косого, – брось: ты обручился этим перстнем с духом тьмы!»

Тут с гневом оттолкнул его Косой и, с горящими от злобы глазами, вскричал: «Ты с ума сошел, раб князя Московского! Если в тебе нет нисколько великодушия, если ты не чувствуешь, как унижены и презрены мы, то не смей указывать тому, кто больше тебя знает! Указывай своим псарям и сокольникам!»

– Хорошо, старший брат! – отвечал Шемяка равнодушно, – но знай, что я не завидую тебе, и если слабый старик, родитель наш, на твоей стороне – Бог с вами! я не вступлюсь. Вези на свадьбу родного замыслы раздора и братоненавидения! Я еду в Москву добрым гостем и, Богом божусь, что не приму участия в твоих кознях... О лесь человеческая, о смрадное дыхание уст клеветника и наушника! Тобою гибнут князья, тобою в один час погибают годы добра...

В это время раздался глухой стук за печкою, как будто что-нибудь упало. «Что это? – вскричал Косой, – здесь кто-то есть?» Он бросился с бешенством туда, откуда был слышен стук: там лежал несчастный хозяин. «Он все слышал!» – дрожа от ярости, сказал князь. Рука его схватила кинжал, бывший у него за поясом.

«Что ты! – поспешно промолвил Шемяка, удерживая руку брата, – он спит и спит крепко!»

В самом деле, хозяин притворился глубоко спящим, да и точно он не бодрствовал, ибо лежал ни жив ни мертв.

«Его надобно допросить, – вскричал Косой, – надобно принять его в плети!» – Грубо толкнул он ногою хозяина, но тот не пошевелился.

– Полно, полно, брат! Так ли платят за постояльство? Неужели и в уголку мерзлой хижины не хочешь ты дать бедняку местечка? Видишь ли: побоялся ли бы, скажи мне, ты этого человека, если бы не боялся черноты слов, какие были здесь говорены? Да, посмотри: вот и еще свидетели – телята, куры, поросята, кот... – продолжал Шемяка, смеясь, – а на печи, вероятно, полдюжины ребятишек, вместе с онучками сушатся...

«Ну, бес их побери! – промолвил Косой, улыбнувшись, – Пора, пора!...»

Князья поспешно пошли из избы.

Глава V

*Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю бога...⁵²*

А. Пушкин

«Хозяин, хозяин! – говорил дедушка Матвей, держа в одной руке горящую лучину, а другою толкая хозяина. – Что ты, Господь с тобою! Очнись, одумайся!»

Слыша ласковый голос дедушки Матвея, тихо приподнялся хозяин. В избе были товарищи дедушки Матвея, они грелись, ходя по избе и хлопая руками; дедушка Матвей совсем собрался ехать и пришел рассчитывать; хозяйка беспечно шевелилась вокруг печи, готовясь топить.

С испуганным видом и все еще не умея собрать мыслей, смотрел хозяин на старика. «А, а! Э, э! – бормотал он сквозь зубы. – Ничего не слышал, батюшка, отец милосердный! вот тебе Бог порука, ничего!» После долгого, неясного бормотанья добился наконец этих слов дедушка Матвей, и те были произнесены дрожащим, едва внятным голосом.

– Да, опомнись, родимый! Что с тобою сделалось? Сотвори молитву, да перекрестись! – говорил дедушка Матвей. – Аль тебя соседко мучил?⁵³

Тут твердо сел на своей скамейке хозяин, словно гора свалилась с его плеч; он опомнился, глядел на дедушку Матвея, на товарищей его, на хозяйку, нимало не заботившуюся о беспокойстве своего мужа, как будто это до нее не касалось. Видно было, что хозяин вглядывался во всех и хотел удостовериться: точно ли он еще существует?

– Что с ним, родимая? – спросил дедушка Матвей у хозяйки. – Аль на него находит?

Хозяйка взглянула на мужа и, кидая в печь полено дров, хладнокровно отвечала: «А кто ж его знает? Николи не бывало!»

Тут хозяин поднялся на ноги и спросил у дедушки Матвея: «Где ж они? ужели уехали?»

– Кто?

«Князь», – прошептал хозяин.

– Давно, родимый, давно; да, вот я все тебя добудиться не смогал. Видно ты что-нибудь не по себе? Видно страшный сон испугал тебя?

«Ох, старинушка! – отвечал хозяин, – прогневался на меня Господь! Да и откуда эта беда на мою голову упала!»

– Да, что такое?

«Схожу помолиться к угоднику Божию, новому чудотворцу, Сергию игумену, а то и не уснешь ночью... Ну! уж бояре, ну уж князь! Да как это с ними люди-то живут, да как головы-то целы у них остаются!»

– Товарищ! – сказал ему тихо дедушка Матвей, – тут есть лишние бревна. – Если ты что-нибудь слышал, то, послушайся меня, старика – молчи, как могила православного!

«Ох, старинушка! Да если язык у меня пошевелится, так не роди меня мать на свете!»

– И дело; ешь пирог с грибами, а держи язык за зубами. «А видно, что хорошее слышал он! – примолвил дедушка Матвей про себя. – Ох! большие люди, ох! горе нам! Легче вельбуд сквозь иглиные уши пройдет, нежели богатый в царствие небесное внидет...»

⁵² Эпиграф – строки из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

⁵³ Соседко мучил – т. е. домовой.

Скоро расстался с хозяином дедушка Матвей. Надолго ли, не знаю, но испуг подействовал сильно на совесть хозяина: он не взял ни одного шелега лишнего, и нигде еще во всю дорогу так дешево не платил дедушка Матвей ни за ночлег, ни за ужин.

И на дедушку Матвея происшествия этой ночи сделали сильное впечатление. Осторожный старик на выездах ранним утром всегда ехал впереди со своим возом, идя потихоньку подле лошади и напевая духовные песни. Теперь почел он за необходимость удвоить свои предосторожности.

Уже несколько верст отъехал дедушка Матвей со своим обозом, как при въезде в маленькое селение вывернулся из-за угла какой-то прохожий и сказал ему: «Путь-дорога, добрый человек!»

– Благодарствую! – отвечал дедушка Матвей.

«А что, нельзя ли мне присоседиться к вам? Вы ведь в Москву едете?»

– В Москву, – отвечал дедушка Матвей, оглядывая незнакомца с головы до ног.

Это был старик, высокого роста, седой как лунь, но, по-видимому, еще весьма бодрый и сильный. На нем надет был короткий тулуп, подпоясанный шерстяным кушаком, большая шапка закрывала его голову, в руках его была толстая палка, за плечами небольшая котомка.

«Мне только положить на воз котомку; вчера измучился по дороге, такая стояла погода, что и Господи упаси – едва добрал до жилья, а хотел было в Москве ночевать».

Голос незнакомца внушал доверенность; до Москвы было недалеко, в дороге одному скучно, ибо товарищи дедушки Матвея могли только понукать лошадей. И дедушка Матвей согласился, чтобы незнакомец положил котомку на его воз. Несколько минут старики шли молча; заметно было, что бодрый незнакомец уменьшал шаги, чтобы не опередить дедушки Матвея. Наконец дедушка Матвей запел тихим голосом: «Хвалите имя Господне, аллилуйя!» – Он все еще был задумчив и не хотел сам начинать разговора, незнакомец также не начинал.

Вскоре голос незнакомца присоединился к пению дедушки Матвея, голос чистый, звонкий, каждое слово отличал он особенным чувством. Дедушка Матвей сам певал на клиросе и был знаток в пенни церковном. Он изумился искусству незнакомца. Кончив хваление, незнакомец запел величание празднику и сказал дедушке Матвею, что они пели на московский голос, но что в Киеве поют иначе, а в Новгороде еще иначе. Немедленно после того пел он и по-киевски, и по-новгородски.

Разговор стариков оживлялся после сего более и более. С любопытством дедушка Матвей слушал, что рассказывал ему незнакомец о *демественном* пении⁵⁴, начавшемся при Великом князе Ярославе Владимировиче, о греческом столповом пении⁵⁵ в Иерусалиме и афонских горах, о разных церковных обрядах. Он подробно говорил о *пещном действии* в Новгороде, когда, за неделю перед Рождеством Христовым, среди соборного Софийского храма, против царских дверей, становят печь, трое прекрасных детей, одетых в белые хитоны, представляют трех святых отроков, и несколько людей, свирепого вида, в пестрых одеждах, с трубками, набитыми плауном, изображают халдеев, махая трубками, из коих огонь летит выше большого паникадила, а печь вся кажется горящею. Наконец огонь попадает мучителей, ангел слетает в печь огненную, и торжественное пение возглашает умиленным христианам бесплодную ярость вавилонского тирана, мечтавшего сынов Бога истинного заставить преклониться пред истуканом его на поле Деире.

Со вздохами и беспрестанно приговаривая: «Господи Боже, царь милостивый!» – слушал все сии рассказы дедушка Матвей. В природе ли человека находится такое чувство, что повесть

⁵⁴ *Демественное пение* – торжественное, праздничное исполнение духовных стихов, украшенное мелодически и ритмически.

⁵⁵ *Столповое пение* – чтение нараспев духовных стихов в строго заданной тональности, определяемой интервалом между двумя соседними гласами-нотами (отсюда название – «столповое») из восьми звукопоследованкй (гласов, нот), принятых в православном богослужении.

о святом и божественном наводит печальную мысль о суете и бедности мира, или старики грустию сопровождают каждое сильное чувство? Только к однообразным возгласам дедушки Матвея присоединились, наконец, слова грустные: «Господи! прости наше согрешение! Согрешили мы, окаянные!»

– Правда, – сказал незнакомец, – но еще русская земля не совсем прогневала Бога. Еще в земле русской сияет немраченным крест Господен. Но вот в Киеве, друг! горестно смотреть – какое нечестие воцарилось! Латинский крыж стоит подле церкви православной, святая вера забыта, в училищах преподаются неверие и ереси! Как русским человеком правит там литвин и лях, так церковью православною правит еретик. Ведь ты, я полагаю, слышал, какое злочестие учинил покойный литовский князь?⁵⁶

«Слышал, – сказал дедушка Матвей с видом человека, не совершенно знающего предмет любопытный. – Но слышал не вполне!.. Где же нам в глуши все знать...»

– А такое злочестие, что все Ироды⁵⁷ и Диоклитианы⁵⁸ не причиняли подобного зла. По их воле мученические венцы получали Христовы воины, принуждаемые поклоняться истуканам. Но святотатственная рука литовского князя рассекла нашу святую церковь. Грех паче Ариева⁵⁹ и Савелиева⁶⁰! По его воле Киев теперь уже не повинуется митрополиту *всей Русии*, но волк вторгся в паству митрополита и отторг часть овец словесных.

«Ах, Господи! да как попустил Бог?»

– Он искушает напастями веру нашу и для сего попускает торжествовать врагу. Ловитва диавола – честолюбие: она губит всего более человека. Князю литовскому хотелось власти и чести. Он видел, что пока владыка духовный будет находиться в русской земле, до тех пор души и сердца будут к русской земле обращаться. И выдумал он – разъединить церковь православную. Вот, теперь уже шестнадцатый, не то семнадцатый год минул, как душепродавцы епископы собрались в Вильне и поставили себе еретика-епископа – Гришку Цамблака. Преосвященный⁶¹ Фотий предал его анафеме и всех приобщающихся ему. С ними не велено православному ни пить, ни есть...

«Говорят, видишь, преосвященный-то уговорил будто покойного князя литовского в православие. Что де ты, князь, славен мирскою славою, а беден ты небесною милостью: владеешь православными, а сам лядской веры. И князь будто говорил ему: „Иди в Рим великий, к римскому папезу, препри его⁶², и я обращусь в вашу веру, а если он тебя препрет, то вы все обратитесь в нашу веру“. – Владыко-то будто и усомнился в духе веры, а оттого, как от ризы Самуила Саул, литовский князь отодрал много душ христианских. Ведь сомнение грех великий, хула на духа святого, невыжигаемая даже мученическим костром!»

– Так; да не верь ты таким рассказам. У этих князей всегда предлоги найдутся и для мира, и для ссоры, и для хищения. Поганые татары, по крайней мере, говорят прямо: хотим пить крови христианской, а эти князья все с благословением будто делают, а все на зло.

Дедушка Матвей недоверчиво поглядел на старика.

⁵⁶ ...злочестие учинил покойный литовский князь... – Имеется в виду утверждение в Киеве, находившемся тогда под властью Литвы, независимой от русской церкви митрополии. В 1415 г. Витовт созвал всех епископов из подвластных ему славянских земель – полоцкого, черниговского, луцкого, смоленского, туровского и др., которые провозгласили создание Киевской митрополии и избрали своим митрополитом болгарина Григория Цамблака (ум. 1419), безуспешно пытавшегося соединить две церкви – православную («греческую») и католическую («латинскую»). В 1433 г. Киевскую митрополию возглавил смоленский епископ Герасим (уб. литовцами в 1435 г.)

⁵⁷ *Ирод* – см. комм. к с. 94.

⁵⁸ *Диоклетиан* – см. комм. к с. 99.

⁵⁹ *Арий* – см. комм. к с. 48.

⁶⁰ *Савелий* (конец III – нач. IV вв.) – проповедник, отрицавший учение о троичности Бога (Троице).

⁶¹ *Преосвященный* – митрополит *всей Руси* (с 1409 г.) Фотий (ум. 1431).

⁶² ...препри его – т. е. победы в церковном споре (пря – спор).

– Я не об наших русских князьях говорю, а об литовских, – сказал незнакомец, заметив недоверчивое движение дедушки Матвея. – Хоть бы этот Витовт – поверю ли я ему, чтобы он подосадовал на владыку, и, потому вздумал приставить две главы к телу единые, соборные, апостольские церкви? Сам ты рассуди: на крови ближних основал он власть свою и не щадил даже родных братьев. Подумай, что у него все умышляло зло. Ведь все знают: кто отравил бывшего наместника киевского, князя Свидригайлу⁶³...

«А кто?»

– Да, страшно сказать – архимандрит Печерский поднес ему смертное зелье, на пиру веселом и дружеском!

«Господи Боже мой!»

– Наконец, такими средствами и умыслами составил себе князь литовский и славу мирскую и почести. От самого Новгорода, даже до Черного моря простиралась в последнее время его держава. Как порасскажут о почестях, какие были ему возданы незадолго перед кончиною... Горделиво вздумал он венчаться на литовском троне царским венцом, и от кого благословения-то просил? От римского папежа! Наехало к нему царей и королей, князей и ханов, видимо-невидимо – ну, так, что одного меду выпивали они всякий день 700 бочек, да романей 700, да браги 700, а на кушанье шло им по 700 быков, по 1.400 баранов, да по сту кабанов! И как еще? Немцу давали пиво, татарину кумыс проклятый, русскому мед. Венец к нему везли золотой, выкованный на Адриатическом море в городе Венеции – и наши русские князья там были: московский, тверской, рязанский.

«Ну, что же?»

– Да когда видано, чтобы худое пошло впрок? Злый зле и погибнет! О венце Витовтовом рассказывают чудные дела: все видели, как везли его – пропал без вести: ни венца, ни человека, который вез его, никто не видал, куда они девались. Старый князь почувал явный гнев небесный, запечалился, да так в печали и умер.

«Слышал я; а теперь, говорят, в Литве и Бог весть что делается!»

– Душегубство! Брат на брата восстал и родной отдыхает на могиле родного. Главным князем после Витовта был там Свидригайло Ягайлович⁶⁴. Есть толки, что будто он и старику-то Витовту пособил на тот свет отправиться без покаяния; видишь, как кровь вопиет за кровь: Свидригайло заплатил за Свидригайла! Этот был, впрочем, человек добрый, но его выгнал из Литвы брат Витовта⁶⁵ – образ человеческий носит, а нравами и ведомом не ведомано! Я таки и сам знавал и видал, но на веку не слыхивал о таком князе. Людей он не губит поодиночке, а так – велит вырезать или запалить город, село, деревню, а сам с утра до ночи в пьяном образе, и вместо стражи лежат у него двенадцать диких медведей, прикованных на цепях в его опочивальне...

«От него достанется, я думаю, и Руси православной много всякого горя!»

– Куда ему! Теперь бы Руси-то православной на него нагрнуть, так он и сам не усидел бы на своем столе. Забыли мы, как делали наши старики! Эх, товарищ! где теперь наша Русь? Всю-то ее в горсть захватить можно!

«Ну, где же в горсть? Будто от Волги до Москвы, да от Новгорода до...» – Тут дедушка Матвей остановился, затрудняясь недостатком географических сведений.

– Ну, опять *до Москвы* – и только! Знаешь ли, что *прежде* Русь-то была? Ведь Киев-то был матерью русских городов, Полоцк был русским княжеством, Смоленск тоже, Курск

⁶³ *Свидригайло* – имеется в виду Скиргайло (Скиригайло) Ольгердович (ум. 1396), князь Полоцкий (1380—1386), великий князь Литовский (1386—1392), князь Киевский (1392—1396).

⁶⁴ *Свидригайло Ягайлович* – имеется в виду Свидригайло Ольгердович (ум. 1452), великий князь Литовский (1430—1431), брат Ягайлы (Владислава) Ольгердовича (ок. 1350—1434), Великого князя Литовского (1377—1386); короля Польского (1386—1434).

⁶⁵ ...*брат Витовта* – Сигизмунд (уб. 1440), князь Стародубский, великий князь Литовский с 1431 г.

тоже, Чернигов тоже, Переяславль на Днепре тоже; а Волынь и Галич⁶⁶? Все это было русское, православное.

«Видно, Господу угодно было разрушить власть русскую».

– Оно так, что без воли Божией и волос с головы человеческой не упадет, но ведь Господь посылает гибель на царство за грехи живущих. Сами на себя мы злым помыслом крамолы ковали. Посмотришь в старые книги: как еще Господь грехам терпит донныне, как уцелело хоть что-нибудь русское! И татары, и Литва, и немцы, и мурмане, и мордва...

«Где же было нашим старикам против всех!»

– Достало бы на всех. Вот об литовском князе Витовте речь у нас шла. Вместо того, чтобы перед ним сгибаться, бить ему челом, да родниться с ним – если бы посчитаться с ним русскими ребрами, чьи-то крепче: русские, али литовские?

«Куда было против него!»

– В этом и вся беда, что мы все говорим: *куда нам!* А как князь Димитрий Иванович с Мамаем схватился, так только пар кровавый остался на том месте, где рати татарской и счета не знали!

«Экой ты: ведь литовцы не татары».

– Теперь уж, конечно, иногда татар и палками гоняют, а посмотрел бы ты их прежде...

Видно было, что разговор задевал за живое незнакомца. Добродушный дедушка Матвей был изумлен, заметив силу его движений, жар, с каким говорил он. Все это не показывало в незнакомце старика простого и мирного, каким являли его одежда и наружный вид. Но хитрый незнакомец тотчас увидел новую недоверчивость спутника. Он смирился и начал говорить по-прежнему спокойным голосом:

– И в наше время не раз доказывали, хоть бы тем же литовцам, русскую силу и крепкую надежду на Бога. Когда Витовт подступал под Плесков...

«Да, мы даже все в Ярославле издивовались, услышав, что плесковичи задумали стать против Витовта Кестутьевича!»

– Но что же он взял? Если бы тогда новгородцы, да ливонские немцы подсобили, то куда девались бы вся его рать и сила великая! Он осаждал Опочку – весь этот городишко доброго слова не стоит! Плесковичи заперлись в Опочке, подрубили мосты, которые через ров вели к городским воротам, – так подрубили, видишь, что мосты-то еще держались. Когда литовцы и всякие бусурманы кинулись в город – мосты обрушились; внизу были набиты острые колья, и враги погибли, как злые преступники, на острых кольях; других хватали плесковичи, рубили им головы, сдирали с них кожи... Видел ли ты бешеного вола? Таков был Витовт в эту страшную минуту! Но Богу угодно было помочь православным! Сделалась Божья гроза – света белого не взвидели – полился дождь, раздался гром: шатры литовские поплыли водою, и Витовт скорее велел убираться, грозя, как волк, которого из овчарни гонят добрые собаки, что со временем заплатит обиду. Грозил он, а не знал, что дни его были уже изочтены перстом Господним, и что трех лет не оставалось ему глядеть на светлое солнышко! Явная милость Божия показала и в другой поход Витовта. Через два года он отдохнул, собрал бесчисленную силу. «Вы называете меня бусурманом и бражником, – велел он сказать новгородцам, – я научу вас тому, как литовцы пьют брагу». Огнестрельного снаряда, людей, коней, обозов повел он столько, что хвалялся передовым полком вступить в Новгород, а задним не выходить из Вильны. Один проклятый немчин сделал ему такую пушку, что сорок лошадей везли ее, а где она была провезена, там след врезывался в землю локтя на два. Вот, приятель, и обступили литовцы город Порхов⁶⁷, что на реке на Шелони. «Ты, Витовт Кестутьевич, – говорил ему немчин, – только

⁶⁶ Галич Волынский – находился на р. Днестр (ныне – Ивано-Франковская обл. Украинской ССР).

⁶⁷ Витовт подступал под Плесков... осаждал Опочку... обступил Порхов... – имеется в виду набег литовцев на Русь в 1426 г.; Плесков – старинное название Пскова.

смотри, да говори мне: куда направить мою *Галку*, – так называлась пушка, – а уж на что я ее направлю, тому не устоять». Смотри с городской стены на обширный литовский стан, где были народы немецкие и татарские, можно было подумать, что груды снега зимние вьюги навеели на земли православных. Я стоял тогда подле сторожевой башни...

Дедушка Матвей оглянулся на незнакомца, тот не смешался нисколько, улыбнулся, перекрестился и примолвил:

– Что я заболтался! Хотел сказать об одном приятеле новгородце, который мне сказывал... Да, где бишь остановился наш рассказ? Ну, вот видишь: в Порхове заперся посадник Григорий и еще один муж новгородский, Исаакий Борецкий – не много есть таких доблестных мужей в Руси! Они отправились к Витовту, стали его уговаривать – он и слышать не хотел. Шатер княжеский раскинут был на холме, перед ним расстилалась долина, где ярко светилась медная, страшная *Галка*, а вокруг нее стояли литовцы в медвежьих шкурах, немцы в железных одеждах, и подле горящего припала расхаживал немчин пушечник. «Нет вам мира! – говорил Витовт Исаакию и посаднику. – Платите мне десятину, отдайте мне земли по Торжок, откажитесь от Пскова, примите моего наместника, или вы увидите, что нет и спасения вам ни за стенами, ни в поле, ни в лесах. Я прорубил дорогу для своего воинства среди дремучих, черных лесов ваших, я помостил пути по болотам вашим для своих снарядов, и вот я подле Порхова. Далеко ли от Порхова до Новгорода?» – «И близко и далеко, – отвечал посадник. – Как ты пойдешь и как Бог тебя поведет!» – «Что ты поешь, старая сова! – вскричал Витовт. – Уставьте дорогу отсюда к Новгороду сплошную ратью, и тут я через три дня буду гостить у вас в Новгороде». – «Государь князь, – отвечал Исаакий, – рати у нас не достанет и на полпята дороги, но силен Бог русский и защитит нас!» – «Бог? – воскликнул Витовт, – а вот я посмотрю, как он защитит вас!» – Тут кликнул он немчина, и указывая на золотую главу колокольни Святителя Николая Заречного, ярко сияющую над градскими зданиями, сказал: «Видишь ли эту золотую главу церковную на колокольне?» – «Вижу», – отвечал немчин. «Готова ли твоя *Галка*?» – «Готова». – «Смотри же: ударь прямо и сшиби золотую главу русского храма!» – «Этого мало, – отвечал немчин, потирая руками по огромному своему брюху, – не стоит терять Порохового зелья; вот еще торчит на стене какая-то башня – прикажи и ее свалить?» – «Хорошо!» – Слезы навернулись на глазах Исаакия, когда немчин насторожил свою пушку, размахнул припалом и зажег зелье пороховое. Огонь блеснул молнией, земля задрожала, дым разостлался по долине... Башню со стены смело, как будто веником, и ядро пушечное завизжало вдаль. – «Видишь ли», – воскликнул Витовт, громко засмеявшись и показывая на кирпичи, полетевшие вдали из стены церковной. В церкви производилась в то время литургия и звон колокола возвещал православным, что началась Достойная. «Достойно есть яко во истину, блажите тя, Богородицу! – воскликнул Исаакий. – Церковь цела, князь: ядро твое пролетело насквозь, и крест сияет по-прежнему, а видишь ли, где твоя *Галка*?» – В самом деле – *Галку* разорвало выстрелом на мелкие части; немчина следов не нашли: только лоскут его калбата веялся на копье воина, упавший из воздуха небесного; множество растерзанных воинов лежало окрест, и вопль и стенания раздавались вокруг шатра литовского князя. На другой день он помирился и увел свое войско со стыдом и срамом...

«Велика была милость Божия!» – воскликнул дедушка Матвей.

– Если бы мы были правее сердцем, то ли мы увидели бы. Несть спасения во всеоружии, но есть оно в правде! Забыта правда в земле русской, нет православия, ереси терзают церковь, мы развратились, мы забыли Бога и дела отцов, начиная с князей до рабов и с княгинь до рабынь, со слезами съедающих насущный хлеб свой.

«Ты верно, товарищ, новгородец, что Новгород отменно любишь, славись и знаешь о нем столько диковинного?»

Незнакомец задумался.

– Нет, – сказал он, – я не новгородец, а недавно был там, жила и прежде.

«Живал? Где же ты живешь всегда?»

– Где? На том месте, где я стою. Много ли человеку надобно: кусок хлеба для утоления голода – он у меня в котомке; чашка воды для спасения от жажды, но – возьми горсть снега, так и напился, а снегу в Руси видишь сколько – не занимать стать (незнакомец обвел около себя рукою, указывая на сугробы, окружавшие все окрест их); сажень места, где прилечь живому... мертвому, – нечего о себе заботиться: сыщется земля-матушка, в которой грешные кости согреются от зимы смертной, найдется лоскут холстины, в который завернут землю, земле отдаваемую, и руки, которыми уравниют твою могилу, чтобы проложить по ней дорогу живым! А нечего сказать – побродил я на веку своем по Руси, православной и неправославной... Где я не был? В Киеве, в Галиче...

«В нашем Галиче?»

– И в вашем Мерском, и в Волынском...

«И в Волынском? Скажи-ка, товарищ дорогой, что там ты видел?»

– Там то же, что и везде: живут люди, с руками и с ногами, а иные и с пустыми головами.

«Ведь, я слыхал, там бывали сильные русские, православные князья?»

– Как же. Меня привел Бог поклониться гробам князя Даниила, князя Романа Галицкого, князя Мстислава Мстиславича, князя Владимирка Володаревича, князя Ярослава Владимировича, князя Льва Даниловича... Эх! соколы золотокрылые! Спите вы крепко в сырой земле и не явитесь стать копьем богатырским за землю русскую! Угры, ляхи, литва, татарщина, молдаванщина в областях ваших, а если и бродят там кое-где кочевья русские, то не походят они на русских. Вот, приятель, диковина! Спустился я по Днепру вниз, на Днепровские острова – степь голая, да кое-где виднеются притоны берладничьи, живет русский народ, смесь такая – ночью, как воры стерегут добычу, а днем прячутся в камышах, да в землянках, и считают богатырство только головами вражескими... Они себя и Русью-то не называют. Спросишь: кто ты? отвечает – *вольный казак!*

«А веры христианской?»

– Как же, христианской, и говорят по-русски; расселились до самого моря Черного, как шмелиные гнезда. Много нечисти всякой между ими – и татары, и ляхи, и угры!

«Ты далеко ходил между ними?»

– Был до самого Черного моря, как ходил в святой град Иерусалим.

«В Иерусалим? Ты был в Иерусалиме?» – сказал дедушка Матвей, с невольным почтением.

– Был, был, товарищ. Где я не был! До Иерусалима проплыли мы через три моря: Черное, Белое и Средиземное. Когда проедешь мимо Царяграда, так с одной руки Святая земля, с другой Греческая земля, с третьей Египетская земля. Море Средиземное, как чаша находится среди мира, и меня привел Бог молиться за Русскую землю на самой середине Божьего творения.

«Какая радость должна усладить душу благочестивую, – воскликнул дедушка Матвей – когда устами своими прикоснется грешный человек к святому гробу Христа Спасителя!»

– Мирскими словами этого не выскажешь, – отвечал незнакомец. – Надобно тебе знать, что святой Иерусалим исполнен запустения на месте святе. Плынешь к нему морями, идешь горами и степями, от солнца сгоревшими, терпишь глад и жажду. Вода в море соленая, солнце печет, стрела разбойника агарянского ждет тебя из-за каждого кусточка, ядовитые скорпионы ползают по горячей песчаной дороге. Сердце православного обливается кровью, когда он видит при том проклятого мугаммеданина владыкою святого храма, и когда в самом храме, подле гроба Спасителя, бьют христиан палками, и святой храм разделен на четыре части: армянам, папежам, арианам... Но поверишь ли? Все я забыл, празднуя святую Пасху, и видя грешными очами своими чудо неизреченное, как нисшел огонь с небеси на свечу христианскую у блаженного патриарха!

Незнакомец утер слезу; дедушка Матвей был весь нетерпение. Он бросил свои вожжи, которые до тех пор держал еще в своих мохнатых рукавицах.

– Помню эту ночь, – продолжал незнакомец, – и буду помнить до последнего смертного часа! Все время, с самого вечера, молились мы в святом храме Иерусалимском. Обширный, темный и без того, храм сей был тогда изредка освещен свечками и лампадками, которые теплились в разных местах, словно звездочки во мраке глубокой ночи. Наконец, патриарх греческий собрал весь клир, облачился, потушили остальные свечи и лампадки и с пением пошли все мы встречать Христа по той дороге, где касались земли его святые стопы. Звуки небесные голоса человеческого: «Воскресение твое, Христе спасе! Ангели поют на небесах, и нас на земле сподоби прославить тебя чистым сердцем», – вы здесь, в сердце моем, которое на тот час было чисто, как душа младенца! Мы приходим ко гробу Господню, над которым во храме устроен особый храм. Тут, с молитвами и со слезами, пали все мы на колени, и лишь только ударила полночь... струями сошел огонь на свечу, которую держал патриарх, хор воскликнул: «Христос воскрес из мертвых!» Рыдая, зажгли мы свечи от свечи патриаршей – и этот небесный огонь, горевший неземным пламенем, и седовласый патриарх, повергшийся перед гробом Господним, и мы, стекшиеся от всех стран мира, скорбные и радостные, славившие Господа на двадцати различных языках...

Незнакомец закрыл лицо руками; дедушка Матвей зарыдал. Молчание продолжалось несколько минут. Старики шли, не говоря ни слова...

Глава VI

*Молчи, бессмысленный народ,
Поденищик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий!
Ты червь земли, не сын небес...⁶⁸*

А. Пушкин

– Неужели, – сказал наконец дедушка Матвей, – неужели до сих пор не было между владыками земными ни одного, который возревновал бы отнять драгоценное наследие христиан из рук неверных, или положил кости свои грешные подле гроба Господня, сражаясь против поганых?

«Были такие примеры, были такие владыки, но – видно, что прегрешения взошли выше глав наших! Теперь кому идти на дело креста! В Иерусалиме выслушал я длинную повесть о том, как стекались некогда отсюда цари, короли, князья благочестивые и отбивали гроб Господен. Двести лет протекло в сей борьбе кровавой, тяжелой, много мученических венцов получили в эти двести лет христианские воины, умирая за церковь Божию... Но уже лет полтораста прошло, как последний христианский город в святой земле Иерусалимской взяли неверные. Великое было дело креста Господня: дети шли на битву; установились даже такие воины, которые назвали себя *крыжаками*⁶⁹ и давали обет умирать за гроб Господен... Да, суета увлекла и их...»

– Где же они теперь?

«Где теперь? Разошлись повсюду, поддались папежу и воюют за него, приобретают ему земные царства и забывают о небесном! Немцы ливонские – ведь это также крыжаки и каждую войну против Руси православной они называют *крестовым походом*, считая себя христианами, а нас называя *язычниками*. Злохуление богомерзкое, клевета нестерпимая! Они *христиане*? Папежи, обливанцы, крыжовники! Цари греческие умоляют их спасти хоть Царьград, где еще сияет православие, – да никто и не думает!»

– Но ведь Царьград такой город, что, и во вселенной, говорят, другого, ему подобного нет!

«Стены высоки, улицы широки, хоромы позолочены, но худо Царюграду – тьма необозримая поганых облегает его кругом, того и смотри, что возьмут Царьград, и погибнет тогда премудрость и благочестие! И кроме Руси не останется нигде православия – все будет либо басурманское, либо папешское, а это еще хуже басурманского. Оттого-то и больно смотреть, что русские земли, единственный остаток церкви Божией на земле, гибнут в злочестии, ересях и крамолах».

– Стало ведь есть же басурманских земель и колен многое множество⁷⁰, когда от них никому на земле места нет, ни Руси, ни Царюграду?

«О! им и счета не знают! Вот видишь: Господня десница определила Руси быть от полуночи до полуденя, пределом между Востоком и Западом. На запад от нее живет всякий язык западный – литва, ляхи, угры, чехи, немцы, латины – все папежи, а граница им Днепр-река; на востоке живут всякие языки восточные – все басурманы до самых пределов солнечных, где стеклянные острова и Макарийская блаженная земля, где солнце опускается каждую ночь в море Окиян: тут живут татары, турки, кызылбаши, тут Индия богатая и царство попа Ивана, и всякие поганые народы. Они приходят и к нам, но предел им Волга-река. Русь не погибнет от них, ибо есть пророчество в Цареграде, на гробе царя Константина написано, что от полунощи

⁶⁸ Эпиграф – строки из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

⁶⁹ *Крыжаки* – крестоносцы.

⁷⁰ ...колен многое множество... – Колено – родовое разветвление, часть родословной, поколение.

изыдет князь Михаил и победит все народы: полунощь означает Русь, и в Руси родится князь Михаил...»

– Когда бы он, батюшка наш, родился поскорее!

«Нельзя: надобно прежде очиститься от грехов наших. Давно ли попущение Божие минулось, что татарская власть стала распадаться? Началось с Димитрия Иоанновича, молитвами святого чудотворца Сергия, и тут – пятьдесят лет тому, как Тохтамыш грабил Москву, а Эдигееву нашествию⁷¹ и двадцати лет еще не будет...»

– Нет, будет двадцать пять, если не больше! Вот, как теперь помню, что на самый Николин день татары выжгли Ростов...

«Ну, положим, двадцать пять – а за полтора года до Тохтамыша было нашествие безбожного Батыева и покорение Руси, по грехам отцов наших! Откуда вышли татары, и Батыевы и Темир-Аксаковы, оттуда выходят и сарацины на Иерусалим, Царьград и воюют все земли».

– Говорят, недалеко, видишь, от Иерусалима и самое начало агарян, где-то в Аравийской земле.

«Нет, тут родился только их проклятый Махмет, между армянской и кызылбашской земли, тут и гроб его, окаянного, находится: железный, висит волхвованьем, ничем не поддержан, прильнул к потолку, а земли не касается, потому, что земля его не принимает. А другие говорят, что в потолке вделан проклятый камень магнит весом в сорок пудов, который тянет к себе гроб Махметов. Богу известна правда!»

– Ну, а что же дальше на полдень и на полунощь?

«Никто там не бывал. Говорят, что на полдень лежит пучина Эфиопская и кипит она огнем среди моря, и там премудрый царь Соломон заключил проклятых духов. А на полунощь, за Югрою⁷² и за Заволочью⁷³, стоит пучина ледяная – конец мира. И там Александр Македонский заключил поганые народы, которые были выгнаны Гедеоном из земли израильской, и о которых царь Давид изрек: „вскую шаташася языцы“. Они выйдут оттуда при конце мира, а дотоле загорожены они каменными горами и затворены медными вратами. Об этом пишет Мефодий Патарийский; Василий же Новгородский другое говорит. Я читал его послание – великое и божественное писание! Он был святой муж, ходил в Иерусалим и получил от царьградского Вселенского патриарха белый клубок».

– Что же он говорит?

«Пишет он, что на ледяной, дескать, пучине есть остров, и на сей остров волею Божиею перенесен рай земной с Востока, и там бывали новгородские путники. Было их всего три ладьи; одна погибла, а две занесло далеко, далеко на полночь и принесло к горам, высоким, светлым и прозрачным. На тех горах увидели они божественный *деисус*⁷⁴, пречудно написан святым Лазарем и издивлен так, что нельзя сотворить руками человеческими! Свет там являлся самосиянный, и хотя солнца не было, но светло было паче земного солнца, и слышны были голоса и ликования веселые. Долго думали новгородские путники и решились послать одного из среды своей узнать, что это за предивное явление в очах их? Положили они с корабля на берег корабельную щеглу, и один из путников взобрался по ней на гору. Но когда с вершины горы взглянул он далее, то вскричал, бросился туда и сгиб из глаз. Послали другого, заказав ему оборотиться к ним, но достигнув горы, он, хотя и оборотился к ним, но с воплем веселия и радости бросился далее и также исчез из вида. Третьего привязали наконец веревкою, и когда,

⁷¹ *Эдигеево нашествие* – имеется в виду поход на Русь в 1408 г. татарского князя Эдигея, во время которого ему не удалось взять Москвы, но он разграбил южнорусские земли и часть северо-восточных земель, захватил и сжег Ростов Великий.

⁷² *Югра* – историческое название земель, примыкавших к Северному Ледовитому океану от Печоры до Обской губы, где проживали югра (старинное название хантов и мансийцев).

⁷³ *Заволочье* – Северо-Двинская земля.

⁷⁴ *Деисус* – икона, изображающая Иисуса Христа, по обе стороны которого в молитвенной позе находятся Богородица (слева) и Иоанн Предтеча (справа).

взобравшись на гору, закричал он радостно и хотел бежать, товарищи сдернули его за веревку, но он был мертв, и ничего они не узнали, ибо несть слов человеческих сказать о веселии рая, и кто вкусил сладость небесную, горька тому сладость земная! В страхе обратились новгородские путники вспять, прибыли в Новгород и поведали все Василию владыке, а он записал на память родам будущим, да чтут и веруют!»

– Но, говорят, что скоро уже придут к нам с полунощи поганые народы, ибо близко уже время кончины мира!

«Кто же исповесть судьбы Бога? Что мы? Червь, тление! Нам ли ведать?»

– Но знамения страшные поведают нам о кончине мира, и сии знамения всюду видны.

«Может быть, но кто достоверно знает? Кривотолки брешут, что с седьмою тысячею настанет преставление Света⁷⁵, и что только 59 лет останется нам жить. Изведать судьбы Божий кто смеет? Я беседовал на Афонской горе с одним старцем премудрым. Он живет уже пятьдесят лет в своей келии на самом берегу Эллинского моря и он говорил мне, чтобы я не верил лживому толку. Знамения кончины мира, – говорил он, – будут таковые...»

Здесь прерваны были слова незнакомца. Передавая читателям беседу двух стариков, мы не говорили о том, что представлялось их взорам.

Чуть только начинал брезжиться рассвет на небе, когда незнакомец пристал к обозу дедушки Матвея. Небо закрыто еще было тогда снеговыми тучами, но они, как будто истощенные выпавшими из них грудями снега и вихрями метелицы, таяли с проходившею ночью. Звезды загорались одна за другою на небе и вот заалел восток, края неба запылали от солнечных лучей и исполин небес – солнце, – выкатилось наконец на небосклон. Сильный мороз сделался тогда на дворе, снег хрустел под ногами лошадей и полозьями саней. День зимний, ясный, холодный, прелести которого не знают и не поймут не северные жители, настал в полном блеске. Небо не являло собою мягкой голубизны итальянского неба: оно было синее, как яхонт, солнце горело огромным бриллиантом на краю неба, бесчисленное множество морозных иголок наполнило воздух, лучи солнечные пересыпались в них разноцветными искрами, отражаясь на пространстве полей, покрытых снегом, белым, как фата юной невесты, идущей к алтарю. День зимний безмолвен, когда ветер не переметает полей. Только с окрестных лесов, чем ближе подходили наши странники к Москве, тем более летели стада галок и ворон в Москву и пестрили светлое пространство небес темными, движущимися точками.

Светлый, ясный, зимний день возвышает душу северного жителя. Он безмолвен, сказали мы, как старец, в думу погруженный, и невольно поражает душу высокою думою. Ничто недвижно на земле; снега, развитые белым покровом по лесам и полям, как будто сливают небеса с землею. Летом природа пестра, разнообразна, все развлекает наше внимание: и зеленеющая трава, и лазоревые краски цветов, и игривые струи источников, и колышущаяся мрачность лесов. Зимой – небо и человек – вот все, что отражается в душе путника. По крайней мере, такое чувство ощущал в душе своей дедушка Матвей, может быть, настроенный к тому поучительною ночью беседою неизвестного старика. Тем неприятнее было для него пробуждение людей, зашевелившихся по дороге.

Едва ли не самым ранним путником был дедушка Матвей. Когда он пустился с ночлега, еще ни один воз не двинулся с места, лошади и люди отдыхали после вчерашней трудной дороги в метель и вьюгу. Но деревни, через которые он проезжал, были наполнены обозами и проезжими. Ехав по русским деревням, можете с удивлением спросить сами себя: когда спят русские крестьяне? Поздно вечером светятся в их хижинах огни, рано утром светятся они снова. Но чем ближе к Москве, тем более все кипело деятельностью и оживлялось. Дедушка Матвей нагонял выезжавшие обозы, другие поворачивали с боковых дорог. Утром начали наконец попадаться встречные возы и люди, ехавшие из Москвы порожняком. Это было на

⁷⁵ ...с седьмою тысячею настанет преставление Света... – О летосчислении от сотворения мира см. комм. к с. 77.

другой день после праздника и торгового дня. Видно было, что возвращавшиеся выехали из Москвы после продажи, навеселе, и большая часть, застигнутые выюгою, пропировали ночью на постоянных дворах. Несмотря на раннее утро, множество было пьяных, которые шумели, кричали, спорили, пели песни. Все это причиняло большие неустройства по дороге.

Не надобно вообразать себе тогдашних дорог, подобными нынешним *шоссе* от Петербурга до Москвы. И теперь еще во многих местах Руси воткнутые в снег елки и сосенки показывают кривое направление, каким идет узкая дорога, и встретившиеся с трудом разъезжаются. Тогда и близ Москвы было немного лучше. Сосновый лес Алексеевский простирался тогда на множество верст вдаль и рос по обеим сторонам Ярославской дороги, сливая в один бор все, что мы теперь называем Марьиною рощею и Петровским. Среди этого бора шла дорога. Ничто не показывало, что вы приближаетесь к столице Великого княжества, кроме умноженного числа больших и малых деревень, отдельных постоянных, хотя и бедных, дворов. Эти дворы сливались наконец в слободы, бесконечные, кривые, и сии слободы были предместия самой Москвы, составляя Ямские, то есть, места на выезде, где жили ямщики, извозчики и останавливались при въезде и выезде обозы. В Москву въезжали незаметно.

В самом начале наших рассказов мы видели из разговоров дедушки Матвея с хозяином постоянного двора, где он ночевал, что в Москву шло особенно много обозов, казенных и частных, по причине наступавшей масленицы и княжеской свадьбы. И дедушка Матвей спешил к этому времени, надеясь получить поболее барыша за свой товар. От того движение по дороге было тогда несравненно деятельнее и живее обыкновенного.

Потому и неудивительно, что дедушка Матвей, когда ожил и поплелся из Москвы и в Москву весь этот православный народ проезжающих, должен был возбудить всевозможное внимание товарищей и сам деятельно принялся за управление возами, чтобы избежать столкновений и ссор, неизбежных при таком случае, особливо когда русский народ в полуразгуле.

Грустно было ему, после разговоров, прослезивших его от умиления, после безмолвия ночи и поучительной беседы, перейти к суете мира!

Разъехавшись кое-как с четырьмя санями весельчаков, которым вздумалось ехать по дороге рядом, дедушка Матвей с приметною досадою обратился к незнакомцу, хладнокровно шедшему подле воза, на котором лежала его котомка.

– Экой Божий народ, неугомонный, право так – никак не сладишь! Если бы не нужда, так не ездил бы в эту Москву – прости Господи, будь она там, где есть, кроме святых храмов, да угодников Божьих, Петра и Алексия!

«Брани Москву, а она и не думает, – сказал незнакомец задумавшись. – Растет себе в длину и ширину, и вашему Ярославлю скоро не сдобровать от Москвы».

– Что ж? Воля Божья! А часто однако ж приходив мне в голову дума: что за притча такая, казалось бы, не велик был городишка, а вот так-то всем нос утирает, что и Новгороду Великому от него плохо приходит, не коли что нашему Ярославлю.

«Неисповедимы судьбы Божии! Святитель Петр митрополит⁷⁶ благословил Москву и переселился сюда из Владимира, с тех пор и пошла она в гору. „Если ты, князь, останешься в Москве, – говорил святитель князю тогдашнему, Ивану Даниловичу Калите, – то благо будет твоему роду и руки твои вздут на плеча врагов твоих!“ – Новгород больше Москвы, Владимир старше Москвы, Киев великолепнее Москвы, но принуждены уступать и видно, что суждено ей быть царицею городов и княжеств русских».

– Толкуют розно, а не слышал ли ты, товарищ, досконально, давно ли началась Москва? Ты так много знаешь...

⁷⁶ ...святитель Петр митрополит... – Петр (ум. 1326), митрополит всея Руси (с 1308), последний год жизни провел в Москве, где умер и был похоронен в заложенном по его инициативе храме, в дальнейшем ставшем местом митрополичьей кафедры – местом пребывания митрополитов всея Руси.

«Как не слышать; да ведь старой повести от сказки не отличишь. Говорят, что когда-то, давно, очень давно, еще при Владимире Всеволодовиче Мономахе, жил-был боярин князь Данило. Вздумал он ехать на охоту, приехал на берег Москвы, и там, где сливается Яуза в Москву-реку, рос тогда лес дубовый, и в нем жил мудрый человек, римского рода, по имени *Подон*. И тот мудрый человек принял ласково, князя Данила и сказал ему; „Знаю я тебя, князь Данило, что ты любимец Мономаха; скажи ж ты ему от меня, что на этом месте будет в роде его град великий и будут князья сильные. Пусть приедет сам на это место и увидит того, кто меня мудрее, а тебе того человека видеть нельзя!“ Князь Данило утрашился, поехал в Киев и Мономаху все сказал. Тогда были у Мономаха войны великие, и удалился Мономах в Суздальскую область, и там родился у него сын Юрий. Был еще у Мономаха муж мудрый, грек, философ и гадатель по звездам, от Божией премудрости, а не от демонской силы. Мономах заложил для сына своего город, назвав его: *Юрьев*. Но грек говорил ему: „Этот сын твой младший будет всем братьям владыка и одного города ему мало, у него будут *долгие руки*, которыми он и другие города похватает“. Оттого и прозвали потом Юрия *Долгорукый*. Мономах призвал тогда Данилу и сказал ему: „Слышу, что сын мой Юрий города себе заберет, обидит он братьев своих; построю я ему такой город, чтобы незавидно ему было на другие города, и будет третий город во вселенной: *первый* Рим, *второй* Царьград, а *третий* его город; укажи мне место, где ты видел Подона“. Данило, гречин и Мономах поехали; только ездили они, ездили – не могут сыскать места! И вдруг перед ними явился, в глухом, непроходимом лесу, зверь троеглазый, превеликий и прекрасный. Они поехали за зверем и выехали туда, где стоит теперь Кремль. Тут нашли они мужа мудрого, старца, по имени *Букала*, старшего брата Подонова. И тот указал им место, где заложить город в темном бору, и велел построить церковь божию, и схоронить его ветхие кости. Но потом Мономах поехал в Киев, прошло много лет, и перед кончиною своею заказывал он князю Юрию в Киев не вступаться, а жить в Суздале и построить город на Букалове месте, упокоить кости старца и быть довольным тем, что Бог дает ему. Но только, что Мономах умер, Юрий усмехнулся и сказал: „Я на свою руку охулы не положу, город великий построю, а Киев также возьму“. И велел он ближнему своему боярину Кучку город на Москве-реке строить, а сам стал отнимать у братьев Киев. Вот дрались они, дрались, много лет, и Юрия выгнали наконец из Киева. Приехал Юрий в Суздаль и вспомнил, что Кучку велел строить город, и отцовское завещание вспомнил, покаялся, поехал сам и увидел, что Кучко города не строил, а выстроил себе палаты узорочные, да населил деревни: одну на Воробьевых горах, другую в Сущеве, третью на Симонове, четвертую на Высоцком, пятую в Кудрине, а шестую в Кузнецях. Юрий разгневался и сказал Кучку: „Ты мне дома не построил, так я тебе домовище построю; ты городу не дал еще имени, так я ему имя дам; ты не схоронил Букала, так я тебя схороню!“ – И велел он Кучку повесить, да стрелами расстрелять и похоронить его на далеком поле, которое с того времени названо *Кучково поле*, а по тому имени и город называли многие: *Кучков город*, но по реке-Москве дано ему имя: *Москва*. И невзлюбил Юрий города, пошел опять отбивать Киев. Но мудрого человека слова мимо не молвятся. За непослушание Юрия послал Бог на род его казнь: Киев родичи его потеряли, Андрея Боголюбского, сына его, убили дети Кучковича, а из Суздаля выгнали великих князей татары. В четвертом колене, сын святого Александра Невского, мудрый князь Даниил⁷⁷ хотел умилостивить гнев Божий и поселился в Москве, построил храмы Божии и над Букалом воздвиг церковь Спаса на Бору⁷⁸. Но только в седьмом колене Господь простил прегрешения Юрия и дал Димитрию Иоанновичу силу и победу, послал ему святителя Сергия и утвердил в роде его Великое княжество. Велика бы

⁷⁷ Князь Даниил (ум. после 1224 г.) и др. – Галицкие (на Волыни) князья.

⁷⁸ ...церковь Спаса на Бору... – Старейшая московская церковь, находилась в Кремле; в советское время была разрушена и на ее месте поставлен памятник В. И. Ленину.

теперь была Москва и Русь, если бы не прегрешил Юрий, да не сделали двух великих грехов его потомки, едва только простил Господь прегрешения предков!»

– Потомки?

«Да, честолюбивая кровь Долгорукого все отзывается в его внуках и правнуках. Первая статья греховная та, что по завещанию отцов и дедов Великим князем надобно быть старшему в роде и чужих уделов не трогать. Это написано во всех грамотах и заветах старинных. Но Димитрий перевел Великое княжение своему сыну, а тот отдал своему сыну к обиде родных и ближних. Когда ж это видано на святой Руси?»

– Да, николи не бывало!

«Ну, а завладение чужим добром разве не грех тяжкий? Сколько благородных бояр, сколько доблестных князей Мономахова рода погибло в изгнании, в темнице, в бою кровавом за наследия, которыми овладели Московские Великие князья? Князья суздальские, князья рода старинного, бедствуют и донныне, когда младшие братья их пируют и ликовствуют...» – Голос незнакомца задрожал, глаза его засверкали – он умолк.

– И нашему князю Ярославскому и Тверскому князю куда плохо приходится, да и вольному Новгороду.

«Что до вольницы новгородской – их таки и пора унять: с жиру бесятся! – сказал незнакомец улыбаясь и перемогая внутреннюю скорбь и горечь свою. – Но мы заговорили о князьях, как будто судить их взялись – Господи нас помилуй! Дай Бог им всем долгие веки, счастья и таланту!»

– Господи нас избави, судить Божиих судей! Не в осуд слово говорится, а спроста молвится!

«Помолимся же о грехе нашем, хотя и невольном. Вот и грань Московская!»

Мы сказали, что подгородные слободы составляли предместья Москвы. Чтобы лучше познакомиться с тогдашнюю Москвою, надобно знать, что *городом* называли тогда собственно Кремль – пространство, за шестьдесят шесть лет до событий, нами рассказываемых, обнесенное Димитрием Донским каменным стеною, на нагорном берегу Москвы-реки. Тут были соборные храмы московские, дворцы, великокняжеские терема и хоромы главных бояр и многих князей. Подле Кремля от Фроловских ворот безобразною кучею настроено было множество деревянных лавок, поставленных рядами, криво и неправильно. От этих рядов и бесчисленного множества лавок и балаганов, отдельно их окружавших, шли извивистые, узкие улицы, так же как и от самого Кремля. Замоскворечье составляло особенное народонаселение и называлось: *Скородом*. Улицы от Кремля и Китая были довольно длинны и пересечены множеством переулков, проходных и глухих. Во всей Москве не было тогда ни одного каменного дома, даже самые дворцы великокняжеские были деревянные. Улицы городские оканчивались там, где теперь видим великолепные городские здания. Так, например, Сретенский монастырь был поставлен отдельно на Кучковом поле, монастыри Крутицкий и Андроньев были вне города, Симонов стоял далеко среди леса, на Москве-реке. Вокруг сих монастырей расселены были монастырские слободки. Отделяясь выгонами и полями от городских улиц, растягивались слободы подгородные, где для обитателей, позади домов, отведены были пашни и сенокосные луга. Дома в Москве были большею частью во дворах, обнесенных с улицы забором, с воротами на улицу. Строение городское отличалось множеством обширных купеческих, боярских, княжеских домов в два этажа, с кладовыми и погребками внизу. Между сими большими хоромами беспорядочно таились хижины и домики, из коих многие были с соломенными крышами. Часто такой домик заслоняло какое-нибудь обширное строение соседа боярина или князя, ибо во дворах знатных и богатых обыкновенно находилось много принадлежностей: конюшни, овчарни, задние дворы, бани, терема, голубятни, соколиные дворы, домовые церкви. В слободах дома были однообразны, построены один подле другого, разделялись только воротами с большим навесом. Это отличало слободы от города. Другое отличие городских улиц составляло

необыкновенное множество каменных церквей и часовен, икон под особыми навесами на стенах и домах. Многие церкви стояли среди улиц и оттого улицы тянулись мимо их угловатыми кривизнами; ограды были обыкновенно обставлены лавочками и торгом. На Яузе и Неглинной находилось множество мельниц и берег Яузы весь занимали сады. Великокняжеский сад был против самой Кремлевской горы на берегу Москвы-реки.

Такую странную, безобразную громаду представляла тогда Москва, не обнесенная ни стенами, ни валом, ни рвом. Прибавим, что все это кипело многолюдством народонаселения. Издали блистала Москва множеством церковных глав, а оттого с незапамятных времен была она названа *золотоглавою*, прежде *белокаменной*, получив сие последнее название после, когда две белые каменные стены разделили ее внутри от Кремля и Китая-города и когда всюду начали воздвигаться в ней каменные палаты и терема. Однако ж, с Ярославской дороги Москва и донныне не видна издали, ибо возвышение земли, идущее от самого Страстного монастыря мимо Высокопетровского и далее к востоку, закрывает от путника остальную, обширную часть Москвы.

Место, которое незнакомец назвал *гранью Москвы*, была часовня, поставленная там, где ныне Сухарева башня. Здесь оканчивалась подгородная слобода Переяславская, которая вправо соединялась с Троицкою слободою, а влево с Красным селом, полями и огородами.

Тут оба старика сняли свои шапки и помолились с усердием. Уродливый старик, сидевший подле часовни, подошел к ним с кошельком и попросил на церковь Божию; множество нищих, сидевших около часовни, завопило жалкими голосами, прося *Христа ради*. Старики заворотили полы своих тулупов и из маленьких кожаных мешочков дали что могли на церковь и нищей братии. Громко благословляя, желая доброхотным дателям здоровья, а родителям их царства небесного, пошли нищие к своим местам подле часовни. Тогда, после новой молитвы, старики подошли к своему обозу.

Все показывало, что они приехали в город обширный и многолюдный. По кривой, вновь устраиваемой улице, к Кучкову полю тянулись в несколько рядов нескончаемые обозы; множество пешеходцев и всадников пробиралось между ними. Знатные люди и чиновники ехали на гордых конях, в санях и кошевнях, со всадниками и слугами, которые разгоняли обозы и били пешеходцев и лошадей, очищая дорогу. Вправо и влево, по пространству, занятому впоследствии Земляным валом, был обширный торг; множество возов стояло тут рядами; в балаганах и под навесами пекли, жарили, варили, ели; разносчики с лотками ходили между народом. Вправо, на Драчевском *старом* городище, видна была многочисленная толпа народа, слышны были клики, шум, заметно волнение. Множество пьяного народа шаталось повсюду.

– Ни свет, ни заря, а экая, Господи, возня! – сказал дедушка Матвей, завязывая хорошенько вожжи и оправляя сбрую своей лошади.

«Видно уж в Москву приехала Масленица, – отвечал незнакомец, с усмешкою опираясь на свою палку. – Смотри-ка, на Драчевском-то поле уж видно начались кулачные бои! Вон, вон, гляди, гляди – стена на стену – ай-да ребята, рано начали... рано и кончите», – примолвил он, почти про себя, вполголоса.

– А знаешь ли, товарищ, вот я не бывал уже здесь года три, четыре – тогда этого не было. Что это: народ-то год от года хуже становится!

«Да, князь Василий Дмитриевич⁷⁹ не подлюбливал ни пьянства, ни дурачества людского. А теперь молодой князь – и масленица скоро, и свадьба княжеская – пускай веселятся! Ты знаешь, – примолвил старик с таинственным видом, как обыкновенно говорит простолюдин вольные речи, – князь радостен, боярин весел, народ пьян...»

– Да ведь, я думаю, еще не во многих церквях и литургия кончилась. Смотри, какая сумятица и беспорядок!

⁷⁹ Василий I Дмитриевич (1371—1425) – Великий князь Владимирский и Московский с 1389 г.

«В порядок обоз!» – раздался хриповатый голос. Дедушка Матвей и незнакомец оглянулись. За ними стоял земский ярыжка и грозил толстою, крашеною палкою.

Хотя никаких застав и укреплений в Москве не было, однако ж, при въездах в городские улицы были поставлены в сторонах рогатки, которыми на ночь улицы были задвигаемы. Днем сии рогатки отодвигали и ставили их подле *будок* – деревянных домов, в коих кочевали *земские ярыжки*. Длинные дома сии походили на нынешние гауптвахты. Это были строения с площадью и входом с улицы. Тут помещались ярыжки, жили подьячие, находилось особое место для взятых в буянстве и драке, для мертвых тел, пока не отвозили их в *убогие дома* – места погребения всех, кто погибал насильственной смертью. Перед обиталищем ярыжек стояли крашенные палки, в особом надолбе. Ярыжка, бывший на страже, брал одну из таких палок и, держа ее, наблюдал за благочинием. Подле каждой палки висела деревянная трещотка. Если надобна была помощь товарищей, ярыжка схватывал трещотку, вертел ее и производил странный звук, на который выбегали другие ярыжки и хватались за крашенные палки. Трещотки употреблялись и для призыва на пожар. При появлении дыма или огня ярыжки шли с трещотками по улицам, тогда на ближних колокольнях спешили бить набат и народ сбегался тушить пожар,

Одну из обязанностей ярыжек составляло приведение в порядок ехавших по московским улицам обозов. Возы должны были следовать один за другим и пять возов связаны один с другим. При первом возе должен был идти человек и вести лошадь под уздцы. При каждом из следующих надлежало быть по одному человеку, а по крайней мере при всех пяти возах один, чтобы поправлять их. Следующие пять возов шли в таком же порядке, оставляя для проезда и прохода место после пяти предшествующих им – предосторожность, необходимая при бесчисленном множестве обозов, наполнявших Москву зимою. Не худо бы возобновить сей устав и в наше время, ибо нередко бесконечные обозы запирают и ныне московские улицы, так, что вся улица становится непроездным местом ссор и драк. Но хотя на ярыжек возложена была обязанность устраивать обозы на улицах московских в торговые дни, проезда также не было, как и ныне, и доехать до Кремля считали важным подвигом. С одной стороны, худо исполнялся устав; с другой, несколько обозов, идущих в несколько рядов, делали препятствие; с третьей, надобно поставить препятствием нетерпеливость русскую: как переждать пять возов, едущих шагом! Считалось удалством проскочить между лошадьми или перелезть через воз, а знатная молодежь прыгала на борзых конях своих через обозы или рубила веревки, от одного воза к другому привязанные, разгоняла лошадей, и хохот означал удалство знатных и замешательство проезжих.

– Тотчас, тотчас, кормилец! – отвечал дедушка Матвей ярыжке. – Видишь: лажу!

«Я тебе полажу спину!» – заревел ярыжка, замахиваясь дубиною.

– Эх, боярин! – сказал незнакомец. – Что старика бить!

«А! вы озорничать? Я вас за то. Вы нарушать порядок...»

Видно, что этот народ и за четыреста лет был таков же, каков всегда. Весьма неприятная ссора с полицией грозила дедушке Матвею и без всякой вины ему легко было попасть при самом въезде под стражу. Он видел, что в то же время множество обозов объехало его потому только, что люди, их сопровождавшие, не хотели приладиться, а он остановился именно для приготовления возов по уставу.

Крик ярыжки собрал уже много любопытных. Ярыжка замахивался палкою и кричал, – «Видно дать надобно!» – шепнул незнакомец дедушке Матвею. – «Да за что дать?» – спросил тот. – «За что почтешь», – отвечал ему незнакомец.

– Ты нарушаешь княжеское повеление – ведь мы княжие рабы, ведь мы его лицо представляем, седой ты бес, прости Господи! Ведь мы управа благочиния!..

«Ох, ты управа бесчиния!» – сказал какой-то молодой парень, идя мимо. Сильною рукою надвинул он шапку ярыжки на лицо его и уже был далеко, когда взбешенный ярыжка освободил свою красную рожу из-под шапки и с ругательством искал того, кто его обидел. Толпа,

собравшаяся вокруг, дала между тем дорогу дедушке Матвею, который спешил уехать, и начала хохотать над блостителем порядка. Он бросился на насмешников со своею дубиною, народ разбежался, издали кричали ему, усыкали его, как собаку, и дразнили.

Между тем дедушка Матвей поспешно ехал по нынешней Сретенке в толпе обозов и народа, снимая шапку и молясь перед церквями, уклоняясь от ездоков и говоря: «*Бог даст*», – нищим, беспрерывно встречавшимся ему; уже некогда было останавливаться.

Доехав до Кучкова поля он должен был однако ж остановиться, ибо тут был обширный торг подле Сретенского монастыря и в тесноте надобно было постоять, пока найдешь проезд. Незнакомец, спутник дедушки Матвея, подошел к нему и, сняв шапку, сказал: «Ну, добрый тебе путь, дорогой товарищ! прощай!» Он взял свою котомку.

– Куда же ты? – сказал ему дедушка Матвей.

«Надобно поискать приюта», – отвечал незнакомец, взваливая котомку на плечо.

– Спасибо за дорогу, за беседу твою. Поверь, что она усладила меня, что я ее во веки веков не забуду!

«Спасибо тебе за ласковое слово».

– Послушай, однако ж на прощание, приятель и товарищ, дозволю узнать твое честное имя?

«На что же тебе знать имя мое? Христианин, русский, да и только».

– Нет! гора с горою не сойдется, а человек с человеком столкнется!

«Бог весть! Нам обоим с тобою жить, кажется, немного осталось; Русь просторна, где нам столкнуться? Помяни меня добрым словом, когда вздумаешь помянуть!» – Незнакомец еще раз поклонился и пропал, в толпе народа.

– Только его и видели! – думал дедушка Матвей. – Что сегодня за чудный мне день выпался на встречи! Недаром вчера пригрезилось во сне, что я одет был в красный зипун, а третьего дня надел я шубу навыворот. Поневоле вздывуешься: на ночлег приехали князья, и чуть было не попались мы в беду. А потом этот, прохожий, Бог знает откуда взялся, куда девался, кто такой! А уж златоуст – нечего сказать – такой-то роде-язык, что не часто встречаются. Где не бывал, чего не видал? – Ну, ну! лошадки вперед! Эй, дружище, посторонись!

Дедушка Матвей должен был ехать в большой рыбный ряд к самой Москве-реке подле Константино-Еленских ворот, которые из Кремля вели на Варварку, а потом были закладены наглухо. Для этого надобно было ему проехать по Лубянке, а потом через Неглинную по которому-нибудь из мостов, находившихся на местах нынешних Никольских, Ильинских и Варварских ворот. Неглинная, запруженная вверху, разливалась широко, текла в глубокие рвы, коими был обведен Кремль, и наполняла их водою. На мостах был особенный затор народа, ехавшего и шедшего в разные стороны. Долго стоял тут дедушка Матвей, как вдруг мелькнуло перед ним знакомое лицо – один из ярославских купцов, издавна поселившийся в Москве. Он узнал дедушку Матвея, известного рыбного торговца ярославского.

– Что, старинушка, видно не проедешь? – сказал ярославец, после обыкновенных приветствий и вопросов: куда, откуда, давно ли?

«Да уж побил я масла по Москве. Скажи, пожалуй: что у вас сегодня? Я давно, правда, не бывал в Москве, да зато никогда и не видывал столько бояр, князей, всадников и такого смятения?»

– Масленица ведь послезавтра, ну а теперь все едет и бежит в Кремль: сегодня княжеская свадьба.

«Сегодня! То-то я смотрю – народ кишмя кишит: и пьяно, и разодето, и все к Кремлю, да к Кремлю!»

– Да как же и не так: по три дня было уже гулянье, да пиროванье, а сегодня выкатят народу бочки с брагой и медом. Князь Великий Василий Васильевич хочет, чтобы все веселились на

его свадьбе и молились за здоровье его с матушкой и с невестою! – А что: есть, чай, у тебя рыбка хорошая? Ты ведь гуртом сбудешь?

«Нельзя иначе. Начни вразбой, так и концов не сведешь. У меня еще назади много идет. Опоздал за дорогой», В это время возы тронулись.

– Зайди же ко мне, дедушка Матвей, мне еще есть тебе дело заказать в Ярославль: Суханко Демкин не платит мне долгишко, вот уж другой год...

«О, да измотался он, сердечный! Не душа лжет, а сума».

Оставим на время дедушку Матвея, московские площади и улицы и перейдем в жилища людей, более дедушки Матвея значительных.

Глава VII

*Дщерь гордости властолюбивой,
Обманов и коварства мать,
Все виды может принимать:
Казаться мирною, правдивой,
Спокойною в опасный час;
Но – сон вовеки не смыкает
Ее глубоко впадших глаз!⁸⁰*

Карамзин

Прежде всего, нам необходимо коснуться *родословной* некоторых князей, коих имена упоминали уже мы в нашем рассказе; далее увидим мы их еще более. Что тот за знакомый, которого ни отечества, ни величанья не знаешь! Так, по крайней мере, говорит русское при-слобие. Мы должны узнать род и отчество князей, которых встретили и встретим в нашем рас-сказе о старом, *былом деле*. Не станем вполне развешивать пыльных, *огромных* родословных столбцов: довольно, что тщеславие людское слишком часто развешивало их на беду свою и чужую в течение целых столетий; довольно, что страсти людские застилали ими глубокие, кро-вавые потоки, и что бедные люди составили из них даже особую науку! Кто сам не занимался родословиями, тому скажем мы, что это знание самое грустное и скучное: это наука мерт-вых имен, которые, без жизни *исторической*, похожи на поминки родителей по синодикам, на голые, обнаженные тела, кости человеческие. А бывали люди, иссыхавшие над родословными списками? Но – над чем не сохнет человек! Корпеть над родословными из одной любви к ним конечно странно; не страннее ли однако ж из них, из этих мертвых остовов, добывать себе честь и славу и гордиться этой честью и славою?

Великий князь московский, Димитрий Иоаннович, прозванный *Донским* после победы над Мамаем на берегах Дона, оставил по кончине своей шесть сынов: *Василия, Юрия, Андрея, Петра, Иоанна и Константина*. Старшего благословил он Великим княжеством, другим дал уделы. В присутствии святого игумена и чудотворца Сергия написана была им, в 1389 году, «*грамота душевная*⁸¹, *цельм умом своим*», в которой, наделяя детей своих областями, разделил он им и города и села, родовые и своего *примысла* и *прикупа*, тщательно определяя «волости, с тамгою и с мытами, и с бортью, и со всеми пошлинами, и с отъездными волостями, станами городскими и сельскими, с конюшими, сокольничими и ловчими путями».

Древняя грамота сия еще цела; через четыре с половиною века пергаментная хартия гра-моты Димитриевой не истлела, и с серебряной печати ее еще не слетела позолота.

Старейший путь отдан был от него князю Василию. «А по грехам, – говорил Димитрий, – отымет Бог сына моего Василия, а *кто будет под тем сын мой, тому сыну моему Васильев удел*». Затем благословлял родитель Василия иконой Парамшина дела, цепью золотою кня-гини Василисы, золотым поясом великим с камнями, без ремней, другим поясом золотым, с ремнями, Макарова дела, бармами и золотою шапкую. Сыну Юрию отдавал он пояс золотой, новый, с камнями и с жемчугом, без ремней, другой пояс, Шишкина дела, *вотола сажена*. Князь Андрей получил от него снасть золотую, пояс золотой, старый новгородский. Князь Петр – пояс золотой, с камнями, пегий, пояс золотой, с калитою, тузлуками и наплечками, а Иоанн – пояс золотой, татаур и два ковша золотые, каждый в две гривенки. Константин только что родился, когда Димитрий был уже на смертном одре. «А даст мне Бог сына, – написал о нем отец, – то княгиня моя поделит его, взяв по части у большой его братии. А по грехам, которого

⁸⁰ Эпиграф – Цитируемые строки приписаны Н. М. Карамзину ошибочно.

⁸¹ *Грамота душевная* – духовная грамота, завещание.

сына моего Бог отымет, княгиня моя поделит уделом его сынов моих; которому что она даст, то тому и есть, а дети мои из ее воли не выйдут. Слушайте матери, дети мои! Что кому она даст, то тому и есть».

Так хотел Димитрий предупредить всю вражду и братнюю ненависть, умоляя сынов своих к миру и подтверждая им многократно «слушать матери во всем; старшему брату держать своего брата князя Юрия и свою младшую братию в братстве, без обиды», а младшим братьям «читать старшего в место его и своего отца». Клятва родительская падала на того, кто «нарушит Грамоту духовную». – «Судит ему Бог, – говорил Димитрий, – не будет на нем милости Божией, ни моего благословения, ни в сей век, ни в будущий!»

Слезящими очами взглянув на детей своих перед кончиною, положив докончателный ряд и дело, сказав: «Да будет с вами Бог мира!..» – скончался Димитрий. Тридцать шесть лет княжил после него Василий Димитриевич и мирно слушались его братья. Когда в 1425 году пришел час и его кончины, митрополит Фотий подписал на духовной грамоте Василия, во свидетельство, имя свое. Но не начало мира, как в Димитриевой грамоте, но начало страшного раздора заключалось в сей грамоте, свидетельствованной первосвятителем русским.

Искони веков, коренной закон князей русских состоял в *старшинстве семейном*. После смерти Великого князя, всегда наследовал ему *брат*, и Великое княжество могло переходить к *сыну* его тогда только, когда ни одного *брата* не было уже на белом свете.

Таков был неизменный закон. Кто его установил? Где начался он? Никто не знал, все ему верили – верили, но уже триста двенадцатое лето совершалось в год кончины Василия с тех пор, как Владимир Мономах в *первый* раз нарушил сей закон⁸², и никто с того времени не исполнял его, если только сила законного наследника не заставляла следовать уставу отцов и дедов. Таковы люди. Как нарочно создают они себе мечту неисполнимую и мучают себя, чтобы достигнуть ее! Право наследства по старшинству в роде почти никогда не было правым, но оно увлажало землю Русскую в течение четырех веков реками крови – и почиталось святым и коренным.

Димитрий сам нарушил его. После Димитрия следовал Великокняжеский престол *не сыну Василию*, а двоюродному брату Димитрия, *Владимиру*, сыну Андрея Иоанновича, дяди Димитриева. Но во все двадцатишестилетнее княжение Донского, Владимир Андреевич, князь Серпухова, Малоярославца, Радонежа, Перемышля и Углича, был добрым другом и верным подданным знаменитого своего брата. Вместе бились они на Куликовом поле, Владимир решил сию битву отважным нападением в тыл врагов и с тех пор прослыл он *Храбрым*. Но, если он всегда изумлял храбростию, то еще более изумил смирением, *уступив племяннику своему старейшинство и Великокняжеский престол*. Первый, неслыханный дотоле пример, приведенный в исполнение умом и хитростью Донского! Василий Димитриевич смело сел после того на Великое княжество, и еще двадцать один год, до самой кончины своей, служил ему Владимир Андреевич верою и правдою, как младший, подвластный князь, поручив по смерти своей детей своих в его *милость и печалование*.

Мог ли надеяться сын Донского, что так же мирно перейдет к сыну его и останется у сына его Великое княжество, если и он нарушит коренной закон, как нарушил его Димитрий? Братья Василия: *Юрий, Андрей, Петр, Константин* были еще живы и не отказывались, по крайней мере, ничего не говорили о Великом княжестве. Дети Юрия, *Косой, Шемяка и Красный*, были князья возрастные и могучие. За два года до кончины написал Василий грамоту духовную, в которой единственного своего сына, Василия Васильевича, «благословил *своею вотчиною*,

⁸² *Владимир Мономах в первый раз нарушил сей закон...* – Не точно. Владимир Всеволодович Мономах (1053—1125) не нарушал существовавшего закона о престолонаследии. В 1113 г., после смерти великого князя Киевского Святополка, киевляне сами пригласили его на Великое княжение, он отказывался, понимая, что все права на это княжество находятся у Святославичей как старших в роде; но киевляне настаивали, а Святославичи не возражали и не протестовали, и он согласился занять Киевский престол.

Великим княжением, чем благословил его отец». Грамоту положили в хранилище княжеское, а через год написана была другая духовная грамота, в которой, с грустною думою о будущей участи десятилетнего сына своего, Василий Димитриевич велел написать: «А даст Бог сыну моему Великое княжение, и я сына своего благословляю, князя Василия».

Все, что мы рассказали теперь, рассказывал, хотя не нашими словами, боярин-старик молодому человеку, в Москве, утром февраля 8 дня 1433 года, когда вся Москва была в движении, слыша, что в этот день будет великокняжеская свадьба и великое пиршество в княжеском дворце для князей и бояр, а на площади Кремлевской потеха для народа.

Дом, в котором беседовали боярин и молодой человек, находился в *трети* Москвы, принадлежавшей князю Юрию Димитриевичу, детям его и братьям, дядям Великого князя московского Василия Васильевича. Может быть, не всем известно, что хотя обладание Москвою было принадлежностью того князя, который считался *старшим* из всех и назывался *Московским* и *Великим*, но Москва не вся однако ж ему принадлежала. *Треть* ее была во владении потомков князя Владимира Андреевича; другую *третью* владели сыновья Димитрия Донского; только одна *третья треть* принадлежала Великому князю, сыну Василия Димитриевича. Каждый был властителем в своей трети и самовластно пользовался судом, расправою, тамгою, восмничьим, гостиным и весчим, пудовым и серебряным литьем, владел путями и жеребьями, бортью, пошлинами, конюшими, сокольничьими и ловчими ездами, и численными людьми, бортниками, садовниками, псарями, бобровниками, барашами и делюями. В делах, между жителями одной трети Москвы с другою третью, был *общий* суд, а при несоглашении выбирались особые *третьи*, из третьей трети.

Разумеется, что в *треть* Великого князя входили Кремль, ряды подле Кремля и лучшая, обширнейшая часть Москвы, но свободное переселение из одной трети в другую жителям не запрещалось. Князья имели дворы, дворцы и терема в чужих третях. У каждого почти князя был еще двор в Кремле. Но князья обладали однако ж лучшими дворцами в своих собственных третях. Дворы князя Юрия Димитриевича и детей его: Василия Косого, Димитрия Шемяки и Димитрия Красного находились в Сущевской слободе. В доме Косого сидели и беседовали старик и юноша, о которых мы упомянули.

Этот двор составляло обширное место, огороженное дубовым тыном с воротами на улицу. Против ворот, во дворе, находилось большое деревянное строение, в два этажа; нижний составляли темные кладовые с железными дверьми, на которых были тяжелые затворы и висели большие замки. Высокое крыльцо, украшенное длинным навесом, с фигурками и дубовыми, резными столбиками, вело в теплые сени верхнего этажа, из коих были двери: направо – в *светлицу*, налево – в *заднюю* половину. Ту и другую половину составляли – спереди два огромных, во всю половину строения, покоя, а сзади замыкали их длинные сени во все строение. Большая комната светлицы была приемного залю, столового в большие праздники; за ней следовали оружейная, образная и проч. В задней половине большая комната была местом, где всегда сидели запросто и обедали запросто; другие комнаты были здесь назначены для домашнего обихода; тут всегда теснились слуги, бояре, ближние люди. Особый переход вел к жилищу княгини, или терему, всегда отдельному, обширному и неприступному для гостей и людей посторонних. Женщины, чем были знатнее, тем более невидимы. Обширные переходы вели еще ко множеству других строений: церкви, конюшням, псарной, голубятне, соколиной. Вообще двор разделялся еще на множество двориков, кроме большого двора перед воротами, чистого, вымощенного досками, уставленного столбами с кольцами, к которым привязывали лошадей приезжавшие к князю, и в этих кольцах был большой почет и место: простолюдин был бы избит палками от стражи княжеской, если бы осмелился привязать лошадь к боярскому кольцу, и боярину сказали бы *грубое слово*, если бы лошадь его очутилась при княжеском кольце. Кто хочет иметь понятие о двориках княжеского двора, тот должен заглянуть в ограды старинных московских монастырей, где увидит он множество неправильно построенных и бес-

порядочно расставленных домиков и при многих домиках отдельные дворики, огороды, сады. Во дворе иного князя жило иногда по несколько сот его дворни, считая бояр, дворян, слуг, псарей, конюхов, сокольников, медоваров, пивоваров, поваров, бортников, слуг, нищих, церковников и проч. и проч. Множество особых сараев, погребов, подвалов, кухонь, амбаров, кладовых, наконец, обширный сад – такова была беспорядочная громада, составлявшая почти каждый княжеский двор. Отличительными чертами их были многолюдство, вечный шум, вечный приезд, толкотня, грязь, не пересыхавшая, особливо в захолустьях, даже и в летние жары.

В большой комнате светлицы, на задней лавке, сидели старик и юноша, одетые богато, и тихо разговаривали. Несколько других, так же великолепно одетых людей, в молчании сидело на других лавках или ходило по комнате; множество прислужников Косого беспрестанно приходили, уходили, переходили через комнату с видом чрезвычайной заботливости, как обыкновенно бывает у русских слуг.

– Что же далее было написано в «Духовной» покойного князя? – спросил юноша старика.

«Далее, – отвечал старик, – определял он, так же, как батюшка его, князь Димитрий Иоаннович, земли и волости, московские, коломенские, костромские, бежецкие, переяславские; потом вычислял сыну движимый *нажиток* и *прибыток* свой: „Святой крест, Страсти большие, патриарха Филофея крест, икона Парамшина дела, цепь крещатая, шапка золотая, бармы, пояс золотой с камнями, пояс на цепях с камнями, пояс на синем ремне, коробка сердоликовая, ковш золотой князя Симеона, судно златскованное, судно каменное великое, Витовтово, кубок хрустальный королевский“.

– И только?

„Только. Я сказал уже тебе, *что* упомянуто было о Великом княжестве“.

– Неужели Василий Димитриевич ничего не говорил об этом братьям своим?

„Мало ли что говорил; но ведь сказано и улетело! Особенно много было толкованья с Юрием и Константином, да толку-то много не вышло. На Духовной грамоте первой подписались князя *Андрей Димитриевич, Петр Димитриевич, Константин Димитриевич*, да два князя Володимировичи“.

– Стало они соглашались на Великокняжение Василия Васильевича?

„Конечно; да они же, кроме князя Константина, подписались и на второй грамоте. После этого – как хочешь посуди!“

– Неужели ты думаешь, боярин, – сказал юноша, – что Великое княжество неверно Василию Васильевичу? Ведь вот он уже восьмое лето княжит?

Старик наклонился к уху молодого своего собеседника и спросил его шепотом: „Ты зачем сюда прислан от твоего князя?“

– Поздравить князя Василия Юрьевича с благополучным приездом и спросить: здоров ли и приедет ли на Княжеское веселье родитель его, князь Юрий Димитриевич?

„И я затем же прислан от моего князя, поклонимся-ка ему пониже. Это спины не попортит, а худо не сделает“, – примолвил старик, усмехаясь.

Юноша задумался. „Да, – сказал он, – теперь везде я слышу, что поговаривают как-то все о грамотах, да о грамотах, и кто эти вести разносит, Бог ведает! В самом деле: *главного-то* и не было! Ты достоверно знаешь, боярин, что князь Юрий Димитриевич под грамотами брата своего не подписался?“

– Нет! А после того, в великий мор московский⁸³, Господь прибрал князя Петра, и князь Андрей в прошлое лето Богу душу отдал. Ох! товарищ! боюсь я, боюсь, чтобы начавши ныне веселье за здравие, не свести за упокой! Может быть ты не совершенно знаешь, как успели удержать донныне Великое княжество за Василием Васильевичем. Много было тут ломки! И

⁸³ ...великий мор московский... – Эпидемия чумы 1426—1431 гг. Князь Петр Димитриевич умер в 1428 г.

покойный святитель⁸⁴ вмешивался, и до драки доходило. Хорошо, что князь Юрий был стар, дети его молоды, а боярин Иоанн Дмитриевич умен и хитёр. Только ему можно было со всеми управиться. С тех же пор, как боярина Иоанна Дмитриевича не стало, мне кажется, что у Кремлевских стен подставки вывалились. Того и смотри, как рухнут...

Тут зашумели полозья многих саней подле крыльца. Это взволновало всех бывших в комнате; бросились к окошкам и увидели, что из трех саней, окруженных многими вершниками, выходили три человека.

– Что это за князья? – спросил юноша у старика.

„Это *лихие* князья, как называют их в Москве, дети покойного князя Андрея Дмитриевича, о котором я тебе сейчас говорил: князь Иван Можайский, да князь Михайло Верейский. А третий... – старик усмехнулся, – князь без княжества, Туголукий...“

– Шут княгини Софьи Витовтовны, Иван, беспоместный князь Суздальский?

„Да! – Боже великий! Вот потомок, родной внук мудрого Константина Дмитриевича Суздальского! А я еще помню, как Суздаль бывало не уступал Москве и руку об руку спорил с нею о Великом княжестве... Константин Мудрый и Иван Туголукий! Боже мой, Господи!“

Громкий смех издали возвещал приход гостей. Все бывшие в комнате поспешно стали в ряд, по обе стороны дверей.

– Нет! Не спорь, князь Иван Борисович, – говорил Иоанн Можайский, входя в комнату, – не спорь! Суздальцы издавна отличались дородностью тела, и тебе нельзя пожаловаться, что Господь не отличил тебя родовым преимуществом. Твое брюхо – нечего сказать, преблагословенное!

„Да, что вы в самом деле затеяли, некошная молодежь! – вскричал князь Иван, с забавною досадою. – Долго ли изурочить? Особливо твой глаз, князь Иван Андреевич, куда на это негодящий: черен, как уголь, и горит, как будто кошечий!“

– Полно, полно, князь Иван Борисович! Смею ли я тебя урочить? Ведь долго ли до беды! Как ты ухватишься за свой *тугой лук*...

Князь Иван с досадою замахнулся на Можайского; видно было, что князь Иван не терпел этого слова и что его обыкновенно дразнили *тугим луком*. „Он еще не сделан, и дерево на этот лук не выросло“, – сказал смеясь князь Верейский. Князь Иван бросился на него с кулаком. Оба брата захохотали. В это время, из внутренней комнаты, вышел Косой и, обращаясь назад, будто говорит кому-нибудь из своих, громко сказал: „Велите мне хорошенько приготовить сайдак, колчан, пищаль и лук натянуть *потуже*...“ Князь Иван кинулся на Косого, закричав: „Я тебе самого в тугой лук согну!“ Косой и двое гостей его расхохотались. В этой потехе никто не участвовал кроме князей; все другие присутствовавшие стояли молча, тихо, опустив глаза, неподвижны, как статуи.

– Нет у тебя стыда, князь Василий Юрьевич! – начал тогда князь Иван, которого мы будем называть *Туголуком*, ибо так звали его все современники, и даже это название сохранилось на его гробе. – Приехал я к тебе, поздравить тебя с приездом, а ты меня, гостя, так принимаешь!

„Ты бы молодца прежде напоил, накормил, в бане выпарил, да спать положил, да тогда и начал бы у него спрашивать: зачем де ты ко мне, князь Иван Борисович, приехать изволил? Он бы и сказал: приехал я к тебе, князь Василий Юрьевич, с приездом тебя поздравить...“, – проговорил смеясь князь Можайский.

– И солгал бы! – подхватил князь Верейский. – Он мне давеча сказал, что хотел ехать к князю Василию Юрьевичу совсем не для поздравления, а просить заступиться за его обиду.

„Тебя обижают, князь Иван Борисович, – сказал Косой. – Да кто же это смеет?“

– Великая княгиня! – отвечал Верейский.

⁸⁴ ...покойный святитель – митрополит Фотий (см. комм. к с. 319).

„Да, да, точно обижают! – вскричал с досадою Туголукий. – Рассуди сам: назначают меня ездить во всю ночь, вокруг княжеской опочивальни, с мечом!“

– И без ужина, и всю ночь, и на коне, – сказал Можайский. – Не обида ли? Князь Иван Борисович уже лет шесть, как на коне вовсе не ездит. Видишь: он худощав, так боится, что никакой конь не сдержит его и расплюснетя под ним, словно лепешка!

Новый смех.

„Прошу дорогих гостей садиться, – сказал Косой. – А я только привечу бояр и присланных ко мне“.

Он приблизился к людям, стоявшим подле дверей. Старик, разговаривавший с юношей, выступил первый, поклонился в пояс и сказал Косому:

„Александр Феодорович⁸⁵, князь Ярославский, прислал меня, своего боярина, к тебе, князю Василию Юрьевичу, поздравить тебя с благополучным приездом и узнать о твоём княжеском здравии и как обретается родитель твой, князь Юрий Димитриевич“.

– Благодарю, боярин, князя Александра Феодоровича Ярославского, – сказал Косой, – за его привет и донеси ему, что милостию Бога мы обретаемся здравы, а как поехали мы от родителя своего, то он, милостию Бога, был здоров и благополучен.

Боярин поклонился, поцеловал руку Косого, поклонился снова и вышел, не говоря ни слова.

Тут выступил юноша и так же, как перед ним старик, спрашивал о здоровье и кланялся от Иоанна Олеговича, князя Рязанского. Однообразно отвечал Косой и отпустил, одного за другим, присланных к нему с вопросами и поздравлениями от Бориса Александровича Тверского, от дяди Константина Димитриевича, князя Углицкого, от Василия Ярославича, князя Боровского, от Иоанна Юрьевича, князя Зубцовского и многих других князей. Все сии князья находились тогда в Москве для празднования великокняжеской свадьбы. Тут выступили московские управители Косого с хлебом, солью и серебряными деньгами на серебряном блюде, донося, что все по милости Господней у них благополучно; наконец, кланялись ему московские наместники братьев его, Шемяки и Красного, наместник отца его Юрия и люди, присланные с просвирами от разных духовных сановников.

Каждый уходил, обменявшись приветствием. Князья Верейский, Можайский и Туголукий сидели молча. Когда князья остались одни и Косой обратился с приветствием к ним, Туголукий схлопнул руками и преважно воскликнул: „Эдакая почесть, Господи ты, Боже мой! Истинно отказался бы от хлеба-соли на три дня, только бы пожить в таком почете! Да и какой же ты мастер, князь Василий Юрьевич, представлять знатного князя! Недаром говорят, что тебе бы надобно быть Великим князем, а не молоденькому нашему Василию Васильевичу. Ты молодец собой, да ты же и старший в княжеском роде, после отца твоего, князя Юрия, да после дяди Константина, да после Василия Васильевича!“

Слова эти были выговорены так скоро, что Косой не успел предупредить их, сказаны так неожиданно, что он не успел обдумать – шуткою или сердцем отвечать на них; наконец, попали в цель столь удачно, что он совсем смешался и с изумлением смотрел на глупого князя и его товарищей.

Иоанн Можайский перебил безрассудные речи Туголукого. „Полно, князь Иван Борисович, – сказал он. – Если госпожа твоя, Великая княгиня Софья Витовтовна, услышит, что ты говоришь – она тебя башмаками по щекам отхлопает, чтобы ты лишнего не врал“.

„Да, – вскричал Туголукий, – дождется твоя княгиня и хуже моих речей! Смотри, чтобы ее самое не схлопнули с места. Нет уж, князья, нечего говорить, а она совсем зазналась! Ладу никакого не приладишь. Когда это слыхано, чтобы в княжеском совете никто из-за бабы словечка молвить не смел?..“.

⁸⁵ Александр Феодорович, прозванный Брюхатый (ум. 1483) – князь Ярославский.

– Князь Иван Борисович точно имеет право жаловаться на княгиню, мою любезную тетюшку, – сказал Косой важно. – В самом деле: заставляя ездить верхом, без ужина и целую ночь, человека – нет, еще не человека, а князя весом в 15 пуд – это бессовестно! Но несправедливость не оправдывает однако ж тебя в вольных речах, князь, и воля твоя, а я должен передать княгине Софье все, что ты говорил; прошу меня не путать!

Лицо Туголукого, всегда красное, побагровело: это значило, что он покраснел. „Ах, Господи, да что я сказал такое? – вскричал он. – Я повторил, что многие говорят, а слышанного зачем не говорить? Разве Господь дал нам только уши, а языка не дал? Разве мы этот дар Божий будем пренебрегать? Ведь это грех: пренебрегать даром Божиим? – Однако ж, прощайте, князь! – примолвил он, принимаясь за шапку, с робким видом, – мне пора. Ведь меня, чай, уж ждут у господина моего, Великого князя Василия, и у матушки его, Великой княгини Софьи Витовтовны – прощайте, счастливо вам оставаться“. – Он ступил несколько шагов, Косой и князь, смеясь, кланялись ему и провожали. Вдруг Туголукий оборотился и тихо молвил Косому: „Ведь ты никому не скажешь, князь, что я здесь говорил? Так, ей-Богу, сорвалась с языка дурь...“

– Никому, никому, – отвечал Косой, презрительно улыбаясь, – ведь я знаю и все это ведают, что ты верный раб Великого князя и близкая родня ему по жене твоего брата, дядюшка-простодум...

„То-то же!“ – сказал Туголукий, смеясь рабским смехом и как будто гордясь своим унижением. Он ушел немедленно.

– Каков? – сказал Косой князьям; – а ведь я не ручаюсь, что он не бездельничает и что он не был прислан нарочно?

– Князь Роман! – вскричал потом Косой, хлопая огромными своими руками. Явился молодой человек из свиты Косого. – Ты будешь здесь; примешь, кто придет, и скажешь, что я пошел в мыльню. Пойдемте, князь.

Косой увел князя Верейского и князя Можайского, через переходы, в дальнюю комнату.

– Здесь мы свободны, князь, – сказал он. – Обнимите меня прежде, а потом поговорим душевно.

„Мы думали, – сказал ему Иоанн, – что найдем у тебя брата, князя Димитрия Юрьевича, Где же он? Ведь он приехал?“

– Да, мы вместе ехали, в одних санях, но душами были розно. – Он остановился в кремлевском дворе своем.

„Что же родитель твой? Где он?“

– Был в Галиче, а теперь должен быть ближе. Но – он устарел⁸⁶, князь, устарел! На брата Димитрия я не полагаюсь нисколько. Он не так глуп, как Туголукий, но думает совершенно по-туголуковски. Меньшой брат, со своею красивою рожцею, также никуда не годится: он способен только увеселять старика моего игрою на гусях. Презабавное дело! Сидят двое, один играет и поет, другой молчит, слушает, гладит сынка по русой его головке и плачет от радости!..

„Законный наследник, старший в роде!“ – вскричал Михаил.

– Когда у него под носом рвут город за городом! – примолвил Иоанн.

„Устарел, друзья! говорю вам, устарел! Авось его золотой язык боярина Иоанна Димитриевича порасшевелит. Что за голова, князь! Что за ум! Не выдавшись с ним, напрасно возбуждая отца и ссорясь с братьями, я ничего не хотел начинать и не начал бы, пока сам не поговорил с вами, князь, не посмотрел сам, что делается в Москве“.

– Здесь все идет – Бог знает как! – сказал Михаил Верейский. – Вот сам увидишь. Володимировичи теперь ног под собою не слышат, особливо князь Боровский, с тех пор, как сестра его сделалась невестою Василия. Управление пошло совсем через руки баб. Туголукий не обманул

⁸⁶ Устарел – т. е. состарился.

тебя, сказав, что в советах голоса всех покрывает голос старой княгини, тетки. Вот старуха, князь Василий Юрьевич! Настоящая Витовтовна! И покойный дядя едва ладил с нею, а теперь никто сладить не может. Одной только еще слушается старицы, княгини Евпраксии, которая, как застучит своим монашеским костылем, так все умолкает. Молодежь ездит на охоту с князем, пирует, гуляет, и – мы с ними же!

Косой ходил, не говоря ни слова.

– Слышал ли ты, – продолжал Михаил, – что сделалось с дядею Константином Дмитриевичем?

„Нездоров?“

– Нет! в монахи идет.

„Как! в монахи?“

– Да, после свадьбы, мы едва ли не будем праздновать его княжеское пострижение. „Лучше быть первым в монастыре, чем последним в Москве“, – недавно говорил он мне. Теперь почти всегда живет он на Симонове, украшает эту бедную обитель и, показывая ее гостям и посетителям, приговаривает: „Есть чернцы и на Симонове“. „Я тебя понимаю, дядя, – проворчал Косой. – Я сам пойду в монахи, если... Но, тем лучше: он с плеч долой, отец стар, одна ступенька и... – Он обратился к князю ям. – Сказал ли вам князь Роман, что я встретился с боярином Иоанном, и все, что я говорил с ним? Это моя правая рука“.

– Все знаем. Теперь, не достаёт только нашего Гудочника.

„Он уже здесь, – отвечал Косой. – Перстень боярина вызвал его, как беса из тьмы крошечной. И настоящий бес! – Где таких людей умеет сыскать боярин Иоанн?“ – Тут Косой отворил боковую дверь и оттуда вышел ночной собеседник дедушки Матвея, старик, бывавший везде и знающий так много.

„Добро пожаловать, Иван Гудочник!“ – сказал Иоанн, пожимая руку старика.

– Здорово, Ванюша! – прибавил Михаил. – Что ты принес к нам?

„Все, что нужно, князь Михаил Андреевич! Челом бью тебе и тебе, князь Иоанн Андреевич, от князя Тверского и из Новгорода от князей Василия Георгиевича и Феодора Георгиевича“.

– Давно ли ты виделся с боярином. Иоанном Дмитриевичем? – спросил Можайский.

„В последний раз я видел его в Твери, откуда хотел он ехать в Зубцов. Но я слышал, что он был после того скрытно в Москве и теперь должен быть у князя Юрия Дмитриевича. Время не терпит“.

– Ну, что ты думаешь? – сказал Иоанн. – *Когда* начинать? *Как* начинать?

„Это зависит еще от многого, что должно предварительно решить. Новгород, Тверь готовы. Суздаль – вы знаете, вспыхнет, как зелье пороховое, когда вы только скажете. Москва начинена всякими горючими снарядами и стоит только поднести огонь. Ярославль, Рязань – об них нечего и говорить: при удаче они ваши, при неудаче – они против вас, а пока дело уладится – они станут молчать“.

– Мои и братнины дружины в три дня сядут на коней, – вскричал Иоанн.

„Пока боярин Иоанн Дмитриевич не известит меня о решении князя Юрия Дмитриевича, – сказал Гудочник, – я не начну ничего“.

– Я тебе его решение! – отвечал Косой.

Гудочник задумался.

„Я, я решу все за отца моего, все! – повторил с жаром Косой. – Говори, что тебе надобно?“

– Стало быть, ты еще и условий не знаешь, князь Василий Юрьевич, хотя перстень боярина Иоанна Дмитриевича свидетельствует за твое согласие? И притом – прости меня – ты, все еще не родитель твой! Что голова, то разум. Говорят, будто мысли родителя твоего совсем переменялись, после недавней поездки в Орду.

Косой ходил, в страшном смущении, по комнате и вдруг оборотился к Гудочнику. „Я более тебе доверяю, старик, нежели ты мне!“

– Князь Василий Юрьевич! мне можно доверять.

„Я в первый раз тебя вижу, не знаю кто ты и допускаю тебя быть участником всех тайн, за одно слово боярина Иоанна Димитревича!“

– Меня не знаешь ты, князь, – это правда, но то знаешь ты, что я играю в большую игру – в свою голову, которая у меня одна, и кроме которой нет у меня ничего в здешнем мире! На первой осине, как псу нечистому, заплатят мне за мою ошибку. А ты – князь, первый после отца и дяди своего в Русской земле: тебя не коснется никакое зло, хотя бы открылось, что ты хочешь зажечь Москву с четырех сторон. Но, кроме жизни, у меня есть еще другое добро, дороже самой моей жизни: клятва, которую уже сорок лет стараюсь я исполнить. И теперь, когда приближается время сложить, может быть, с души моей клятву смертную – я не могу отважиться ни на что, пока нога моя будет стоять твердо...

„Какая клятва, старик?“ – спросил Косой гордо.

– Это моя тайна, которой до сих не открывал я никогда, даже на исповеди, перед святым причастием тела Христова!

„Безумно было бы сомневаться в согласии отца моего, – сказал Косой, по некотором молчании. – Условия, если только они не бесчестны, будут исполнены. Скажи мне их“.

– Скрывать не буду, – отвечал Гудочник. – *Первое* – Суздальское княжество восстановляется по-прежнему, как было оно при мудром князе Константине: Нижний Новгород, Суздаль, Городец на Волге и Мещера. Князья Василий Георгиевич и Феодор Георгиевич владеют им, на всей воле.

Косой махнул головою. Гудочник продолжал:

– *Второе*. Новгород Великий получает все древние права свои по льготным грамотам Ярослава Великого.⁸⁷

„Далее!“ – сказал Косой, скрывая нетерпение.

– *Третье*, – продолжал Гудочник. – Тверь отделяется особым Великим княжеством.

„Как! – вскричал Косой, – вы хотите вырвать честь и славу из венца Мономахова и потом бросить его, обесславленный, на седую голову моего родителя? Это постыдно, это унижительно! Отец мой не согласится; я не хочу! Вы разрываете на части нашу порфиру великокняжескую...“

– Которая еще не ваша, князь Василий Юрьевич, а на плечах князя Василия Васильевича, – отвечал хладнокровно Гудочник.

„Вы отторгаете наши области, разрушаете нашу власть“, – продолжал Косой.

– Их еще надобно добыть, князь! – с горькою улыбкою промолвил Гудочник.

„Братья! – воскликнул Косой, обращаясь к князьям Михаилу и Иоанну и отворотясь от Гудочника, – если вы заодно со мною – оставим крамольников и пойдем добывать своего мечом! Слабому ли мальчику со старою матерью устоять против нас?“

– Разве этому не было опыта? – сказал печально Михаил, молчавший во все время, пока говорил Гудочник. – Разве не старался об этом родитель твой, целые восемь лет? И возможно ли это ныне, когда за восемь лет, сгоряча, ничего не успел он сделать!

„Ваш покойный родитель князь Андрей, покойный дядя князь Петр, Новгород, Тверь, все было против отца моего; боярин Иоанн управлял думою московскою; Орда стояла за Москву; Витовт был жив и только ждал случая двинуться к Москве. Что же теперь? Новгород, боярин

⁸⁷ ...по льготным грамотам Ярослава Великого... – Имеется в виду «Русская Правда» («Устав») – древнерусский свод законов, составленный в 1015 г. при Ярославе Владимировиче Мудром (ок. 978-1054), великом князе Киевском (1015—1017, 1019—1054), которому новгородцы помогли разбить в 1015 г. войска Святополка Окаянного и занять Киев. Первые восемнадцать статей этого свода были составлены с учетом пожеланий новгородцев и законодательно закрепляли правила и нормы жизни, отвечавшие их интересам.

Иоанн, Тверь, вы – за нас; Витовта нет; моя рука выучилась управлять мечом покрепче прежнего!»

– Тверь, Новгород, боярин Иоанн не будут за нас, если не примут их условий, – отвечал Михаил. – Что же тогда? Дядя Юрий, восьмью годами постаревший, если он согласится еще на дело – трудное, смелое, не по стариковским силам; Звенигород, Галич, Верея и Можайск – нас трое и только! Ты сам говорил о слабодушии братьев твоих – родных братьев...

„Князь Василий Юрьевич должен еще вспомнить, – начал хладнокровно говорить Гудочник, – что может быть родитель его скорее согласится уступить неверное на верное и, взяв пять, шесть городов, откажется от права старейшинства, за себя и за детей своих, представляя кому угодно ссаживать племянника с великокняжеского стола. Тогда князь Константин Димитриевич, конечно, согласится на все, чтобы только поддержать коренное правило отцов и сесть на великокняжеское местечко“.

– Монах! – вскричал Косой.

„Еще не монах, а если бы и монах был, то можно достать дюжину грамот от всех Вселенских патриархов, которыми разрешат его. Келья и престол, клобук и венец княжеский... выбор не труден! Ему же только сорок четвертый год и страх как приглядывалась ему дочка боярина Иоанна Димитриевича, бывшая невеста Великого князя...“

Глухой стон вырвался из груди Косого, зубы его заскрежетали, кулаком утер он крупные капли пота на лбу. Он походил на дикого зверя в клетке, которого дразнят подачкою, поднося ее к клетке и тотчас удаляя, когда зверь с яростию на нее устремляется.

Наконец, Косой принял спокойный вид и сказал Гудочнику: „Хорошо, я буду на все согласен. Говори же, старик, что мне делать?“

– Теперь – ничего, повторяю я. Сидеть у моря и ждать погоды, которая затягивает вдалеке. Паче всего, князья, молю вас наблюдать осторожность. Меня вы увидите здесь опять вечером. Я только что сегодня пришел и не успел еще ни с кем видаться. Пойду теперь шататься, по Москве с моим гудком, кочевать, где день, где ночь. Когда вам нечаянно понадобится я – знак известный: подле стены Успенского собора начертите большой крест мылом. Когда без того вы мне будете надобны – я приду к одному из вас. Впрочем, Господь Бог да благословит наше дело!» – Он перекрестился; все князья следовали его примеру.

– Я молил бы тебя, князь Василий Юрьевич, – сказал Гудочник, – если мой худоумный совет может годиться, удерживать всячески порывы гнева и княжеского сердца... Может быть, сегодня придется тебе вынести не одно испытание. Будь муж, а не младенец. Чем ласковее ты будешь, тем более тебе поверят; только и надобно забаюкать всех, покамест. И худо сделал родитель твой, что сам не пожаловал в Москву. Оно и ближе, и вернее бы дело шло, и безопаснее было для всех нас.

Казалось, что слова Гудочника имели волшебную силу над буйностию двух молодых князей и над строптивою гордостью Косого. Они безмолвствовали, будто львенки, в тенета попавшие. Старик поклонился и вышел. Но они еще сидели безмолвно.

– Воля Божия исполняется, или козни дьявола осетили меня? – сказал наконец Косой в мрачной задумчивости, водя пальцами правой руки по складкам своего лба. – Кому вверяю я судьбу мою? Кто ручается мне за этого старика?

«Голова его! – вскричал князь Можайский. – Я не уступлю даром: зажгу собственную треть Москвы и стану рубить ее! Двух смертей не будет, одной не миновать! Поедем к нашему женишку, князь Василий Юрьевич!»

– Поедем поклоняться *Великому* нашему князю, – сказал Косой, – и испытаем – можем ли мы притворяться не хуже других? – Молча возвратились князья в ту комнату, где ждал их князь Роман.

– Одеваться мне! – сказал Косой. – Бархатный, шитый кожух мой, червчатый пояс, ордынскую саблю, шапку с золотом!

Часть вторая

*Там русский дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый,
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету...*

*Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...*⁸⁸

А. Пушкин

Глава I

*Поклоны – бой для царедворца,
Обряд пустой – и долг, и честь!*

* * *

Нам кажется, что совсем не худо придумали ныне рассказчики не только изображать одни главные действующие лица и пересказывать их речи, но и подробно говорить все: где было, как происходило, во что были одеты все действующие лица, что они пили, ели – даже все маленькие подробности требуют ныне описания. Зевнул ли один из действующих, когда другие смеялись, сидели ли двое, когда третий стоял, и проч. и проч. Все это оживляет действие, переносит в то время и в то место, где происходило то, что рассказывается. Часто одна черта, изображающая жилище или одежду действующих лиц, дополняет более, нежели длинный разговор. А притом, нет места мечтам читателя, нет места лоску, которым изображение наше покрывает предметы: все раскрыто, все сказано, как что было и как случилось. Так, например, теперь нам хотелось бы перенести читателей наших в Кремль. Это легко; но иной из них *вообразит* себе Кремль XV века таким же *белокаменным* и *золотоглавым*, каков он ныне – с высокими бойницами на стенах, с фигурными крашеными башнями, с часами на Спасских воротах; внутри с обширными площадями, огромными строениями, каменными, узорчатыми теремами, мрачными соборами и далеко в воздух улетевшею главою Ивана Великого; снаружи с зеленоцветными садами, чистым, светлым и всеми радужными цветами пестреющий. Кремль тогда был совсем не таков.

Ветхими, каменными стенами окружалось тогда пространство, Кремлем занимаемое; стены сии стояли с самого построения их Димитрием Донским и, выдержав несколько сильных пожаров, так уже были они дряхлы, что через пятьдесят лет, после времени рассказа, их вовсе разобрали и построили все вновь. Невысокие бойницы их сведены были низенькими кровлями сверху и покрыты старыми досками; видели тленность, думали строить их, но только починивали, пока они совсем развалились. Так обыкновенно бывает у людей: *сломать старое и строить вновь* они не любят, пока само не упадет, а только починивают, лечат и под-

⁸⁸ Первый эпитаф – строки из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

лаживают. Кремлевских стен не только построить вновь было некогда от внутренних и внешних забот, но еще важное препятствие оказывалось, когда думали о перестройке. Снаружи окруженные тинистым рвом они обставлены были домами, дворами, даже церквями, рынками, амбарами, лавками. Изнутри к ним также прилеплено было множество строений, дворов, церквей. Надобно было все это очистить, разломать. Иоанн III грозно махнул рукою⁸⁹ – люди посетовали на него и исполнили его приказ; но при юном Василии Васильевиче и старой матери его никто не смел и подумать о таком деле. Если бы надобно было только скинуть для этого платьемойные плоты и мостики, через Неглинную устроенные, с чего брали пошлины и мыты бояре и княжеская казна, то и тогда от крика и жалоб не знали бы куда деться. Пятьдесят лет, после того прошедших, перевернули все дело.

На месте нынешних теремов и дворцов стояли и тогда дворцы, терема, хоромы, избы брусяные, гридни и вышки княжеские, строения обширные, в разные времена воздвигнутые, неправильные, и все деревянные. Между ними, дворами житными, запасными и проч., Успенским собором, старинным и ветхим, церковью Иоанна Лествичника (где Годунов поставил потом Ивана Великого) и Архангельским собором была площадь, *Красною* называвшаяся, и единственная, если судить по нашему понятию о площадях. Но тогда называли площадями пространства весьма небольшие, и потому в Кремле считалось еще с десятков площадей, между коими вились кривые, грязные улицы. Места между улицами и площадями до самых стен кремлевских были загромождены строениями, которые, как уже мы сказали, льнули даже к самым стенам и как будто просились на волю. В самом деле – в Кремле было довольно тесно. Множество церквей (даже два монастыря: Чудовский и новый девичий, основанный вдовою Димитрия Донского, Вознесенский), домов княжеских, боярских, казарм для воинов, магазинов и запасных мест, на случай осады, домов, дворов и подворьев духовных, монастырских, гостиных, купеческих, больниц, княжеских кухонь, псарен, конюшень – заключалось в стенах Кремля; все это горело несколько раз и выстроивалось вновь еще теснее. В большой отдельной хоромине, соединенной с великокняжеским дворцом переходами, с набранными из маленьких стекол окончинами, собралось множество народа: это были князья и бояре, – а хоромина, где собрались они, называлась княжескою *Писцовой палатою*. Лавки были устроены кругом стен всей палаты. Большой стол, покрытый красным сукном, стоял посредине. Вокруг него поставлено было несколько скамеек, обшитых сверху подушками суконными, и на этих скамьях беспорядочно сидело множество народа. Внимание всех устремлено было на сухощавое, вытянутое, украшенное редкою, длинноватою бородкою человека, который держал в руке множество исписанных столбцов бумаги. Перед этим человеком стояла большая медная чернильница с узеньким горлышком, сделанная в виде кувшина, и огромная песочница. Белая бумага, разрезанная на столбцы, несколько старых рукописей, старинных грамот и книг лежали в беспорядке на столе. В главном месте, за столом, сидел старик, первый боярин Великого князя, князь Юрья Патрикеевич, женатый на тетке его, дочери покойного Великого князя, Марье Васильевне, и следственно, зять Софьи Витовтовны. Другие старики сидели от него по сторонам. Комната, как мы сказали, была наполнена народом. Одни теснились к столу, желая слушать чтение, другие шумели и разговаривали между собою, третьи сидели на лавках вокруг стен, говорили, дремали, спорили.

– От этого содома у меня голову разломило, – сказал наконец Юрья Патрикеевич. – Тише, князья, тише, бояре. Эдак мы во веки веков не кончим. Дьяк! закричи, чтобы молчали! Читай, господин Беда!

«Тише, князья и бояре, тише!» – закричал басом толстый дьяк.

⁸⁹ *Иван III грозно махнул рукою...* – Закончив строительство новой кремлевской стены (1485—1493), великий князь Московский (с 1462) Иван III Васильевич (1440—1505) приказал снести все строения, включая церкви, которые располагались за стеной на расстоянии ближе, чем 109 сажень (ок. 230 м).

– Нет, Юрья Патрикеевич, я не допущу далее читать, пока ты не скажешь мне: согласен ли со мною! – проговорил один из сидевших за столом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.